Д.Н.МАМИН
СИБИРЯК

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В заключительный том вошли легенды, рассказы и сказки для детей, цикл "Аленушкины сказки", автобиографическая записка, воспоминания и избранные письма.

Мамин-Сибиряк Д. Н.
Собрание сочинений в 10 т.
М., «Правда», 1958 (библиотека «Огонек»)
Том 10 — с. 193–328.

- АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
  -
  - ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО
    - ОТРЕЗАННЫЙ ЛОМОТЬ
      - ПРОВОДЫ
      - ДОРОГА
      - ДЕДУШКА СЕМЕН СТЕПАНЫЧ
      - НОВИЧОК
      - КОНЕЦ ПЕРВОЙ ТРЕТИ
      - БОЛЕЗНЬ
      - КАЗНЬ ФОРТУНКИ
      - ИСТОРИЯ ОДНОГО ПИЛЬЩИКА
      - О КНИГЕ КНИЖКА С КАРТИНКАМИ
      - КНИЖКА
      - ЗЕЛЕНЫЕ ГОРЫ
- ПРИМЕЧАНИЯ
- notes
  - Note1
  - Note2
  - Note3
  - Note4
  - Note5
  - Note6
  - Note7
  - Note8
  - Note9
  - Note10
  - Note11
  - Note12

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Дмитрий Наркисович Мамин родился в 1852 году в Висимо-Шайтанском заводе, Верхотурского уезда, Пермской губернии, где его отец служил священником. До 14 лет он оставался дома, где тихо и мирно катилась скромная трудовая жизнь небогатого заводского попа. Это был худенький и болезненный мальчик, развившийся под влиянием чтения книг прежде своих лет. У отца Д. Н. была своя небольшая библиотека из лучших авторов, а потом всевозможные книги доставались от заводских служащих. По вечерам в скромном поповском домике происходило чтение вслух, — это был отдых после дневных трудов. Любимой книгой, которую мать Д. Н. сама читала десятилетнему сыну, были «Детские годы Багрова внука» С. Аксакова, потом следовали путешествия, сочинения Гоголя, Некрасова, Тургенева, Гончарова и т. д. Для себя большие читали «Современник» и Добролюбова, и Д. Н. еще детским ухом прислушивался в далеком медвежьем углу к отзвукам и отголоскам великого движения конца 50-х и начала 60-х годов. Вообще вся обстановка жизни скромной поповской семьи носила не совсем заурядный характер и дала уму и характеру Д. Н. ту закалку, которая дается только у своего очага любящими руками.

С 14 лет началась самостоятельная жизнь. Отцу и матери хотелось отдать детей в гимназию, но не было средств; приходилось обратиться к alma mater[1] — бурсе. «Ты теперь, братец, отрезанный ломоть», — говорил на прощанье отец, благословляя на тяжелый подвиг бурсацкой науки. В духовном училище и в семинарии Д. Н. пробыл 6 лет, а потом поступил в петербургскую медицинскую академию, где слушал лекции 4 года и по болезни вынужден был перейти в университет на юридический факультет. В университете пришлось пробыть всего один год, потому что смерть отца заставила работать для семьи, оставшейся без всяких средств. В 1877 году Д. Н. вернулся на Урал, где и остался «некончившим студентом». В течение четырех лет он существовал частными уроками в г. Екатеринбурге, а с 1882 года исключительно отдался литературе, продолжая жить там же и приезжая в столицу только на время.

Писательством Д. Н. начал заниматься довольно рано и в семинарии был одним из первых по части семинарских сочинений. В Петербурге, когда пришлось перейти на «свой хлеб», он три последних года перебивался работой в газетах и мелких журналах — был репортером, печатал мелкие рассказы и повести. В это время писались рассказы и повести для «толстых» журналов,

но они возвращались «за неудобностью». Такие неудачи, однако, не мешали начинающему автору высиживать большой роман «Приваловские миллионы», который с небольшими перерывами писался около 10 лет.

Особенно важное значение в жизни Д. Н. имел тот четырехлетний период времени, который служил переходом от университета к специально литературной деятельности. Все это время Д. Н. провел на Урале, где теперь перед его глазами выступила с особенной рельефностью бойкая и оригинальная жизнь этого края. Впечатления раннего детства, встречи и столкновения во время каникул, знакомства по охоте, затем путешествия вверх и вниз по реке Чусовой, странствования по приискам и заводам — все это теперь дополнялось новыми наблюдениями, знакомствами и личным опытом. Нужно было долго пожить вдали от родины и потолкаться среди разного чужого люда, чтобы окончательно выяснить себе то, чем отличалась жизнь уральского населения. За внешними формами выступило глубокое внутреннее содержание, обусловливавшееся историей Урала, его разнообразными этнографическими элементами и особенно богатыми экономическими условиями.

Первый рассказ Д. Н., напечатанный в «толстом» журнале под псевдонимом Д. Сибиряк, появился в марте 1882 года («В камнях», журнал «Дело»), когда автору было уже 30 лет. Затем быстро последовал целый ряд рассказов, очерков, повестей и романов. Такое обилие напечатанных статей объясняется, во-первых, тем, что они писались в течение десятилетнего периода, во-вторых, необыкновенным богатством материалов, которые давала жизнь Урала, и, в-третьих, необходимостью осветить сейчас же некоторые «злобы дня» и свои уральские проклятые вопросы. Темы бытовые и психологические поэтому перемешивались со статьями публицистического характера и этнографическими очерками. Работа многих лет печаталась рядом с произведением нескольких дней.

Из напечатанных статей Д. Н. мы можем указать на романы: «Приваловские миллионы» («Дело», 1883), «Горное гнездо» («Отечественные записки», 1884), «Жилка» («Вестник Европы», 1884) и «На улице» («Русская мысль», 1886), а потом на повести и очерки с психологическими темами: «В худых душах» («Вестник Европы», 1882, декабрь), «Переводчица на приисках» (там же, 1883, апрель), «На шихане» (там же, 1884), «Авва» («Дело», 1884), «Башка» («Русская мысль», 1884), «Родительская кровь» («Вестник Европы», 1885), «Гроза» («Наблюдатель», 1885) и «Поправка д-ра Осокина» («Русская мысль», 1885).

Остальные рассказы удобнее разделить по содержанию: «В

камнях» («Дело», 1882) и «Бойцах» («Отечественные записки», 1883) описывается сплав по р. Чусовой, в «Золотухе» («Отечественные записки», 1883), «Золотая ночь» («Наблюдатель», 1884) и «Осип Иваныч» («Русская мысль», 1885) — приисковая жизнь, в «Лётных» («Наблюдатель», 1886) — сибирские беглые, в «На рубеже Азии» («Устои», 1882), «Все мы хлеб едим» («Дело», 1882) и «Максим Бенелявдов» («Дело», 1883) — быт уральского духовенства, в «Последней веточке» (приложения к «Неделе», 1885) — старообрядцы и в «Из уральской старины» («Русская мысль», 1885) — помещичий быт.

Кроме этого, Д. Н. в 1881–1882 годах напечатал в «Русских ведомостях» целый ряд фельетонов «От Урала до Москвы», а с 1884 года в «Новостях» печатаются его «Письма с Урала». Мелкие статьи и рассказы печатались и печатаются в разных столичных и провинциальных изданиях, как: «Волжский вестник», «Екатеринбургская неделя», «Развлечение», «Саратовский листок», «Саратовский дневник».

В течение четырех лет, 1882–1886 годы, Д. Сибиряком напечатано очень много, и необходимо разобраться в этом материале, который может затруднить читателя по своему разнообразию. Сначала мы скажем несколько слов о романах. Первым по времени явились «Приваловские миллионы», над которыми автор с небольшими перерывами работал около десяти лет и по разным обстоятельствам, о которых здесь распространяться не место, все-таки не «доработал» темы. Как все первые произведения начинающих авторов, тема этого романа была задумана очень широко, и, собственно, в настоящем своем виде «Приваловские миллионы» представляют только последний, заключительный роман из тех трех, которыми автор предполагал в исторической последовательности очертить преемственное развитие типов уральских заводчиков. В первом романе выступал основатель и родоначальник всей фамилии Тит Привалов, один из тех удивительных типов «первых заводчиков», коих создал XVIII век на Урале: ум, железная воля, самодурство, жестокость, дикое великодушие — одним словом, добро и зло в этих людях перемешалось самым удивительным образом. Этот первый роман должен был закончиться пугачевщиной, которая захватила уральские заводы. Во втором романе, действие которого относится к сороковым годам настоящего столетия, фигурируют выродившиеся наследники; это время беспримерной по своей чудовищности роскоши, мотовства и всяческого безобразия, не сдерживаемых ничем. В этих рамках должен был выступить разгар крепостного режима, как он вылился специально на Урале. В третьем романе, который напечатан — «Приваловские

миллионы», — выведен последний из Приваловых, человек, который несет в своей крови тяжелое наследство и который под влиянием образования постоянно борется с унаследованными пороками. В общем, он повторяет «раздвоенных» русских людей, у которых хорошие намерения и заветные мечты постоянно идут вразрез с практикой. Таким образом, эта приваловская эпопея должна была захватить собой полный цикл развития приваловского типа, и, конечно, голая тема еще не дает того, что должно было вылиться в формах, красках и действии.

Роман «Горное гнездо» служит в настоящем своем виде только введением к другому роману, действие которого должно было разыграться в столице. Но последнему намерению не суждено было осуществиться, так как журнал, где напечатано было «Горное гнездо», прекратил свое существование, а печатать продолжение в другом журнале автор нашел неудобным. Таким образом является роман «На улице», где автор сделал непростительную ошибку, — в этом последнем перемешались две темы: с одной стороны, пред читателем проходят лица из «Горного гнезда», а с другой — представители «улицы». Первая тема осталась недоконченной, вторая только затронута. Третий роман — «Жилка» — является бытовой картиной из жизни далекого уральского захолустья, где случайное, дикое богатство погубило не одну хорошую семью, крепкую старинными устоями. Наконец, последний роман — «На улице» — рисует нравы и типы того исключительного мирка, который расположился лагерем во всех больших столицах, — здесь свои нормы жизни, своя уличная логика и свои типы. По нашему мнению, здесь автор только затронул тему.

Кроме упомянутых романов, Д. Сибиряком написан целый ряд мелких очерков и рассказов, из которых можем указать только на имеющие психологическую подкладку: «В худых душах», «На шихане», «Родительская кровь», «Поправка д-ра Осокина» и т. д. Остальные рассказы носят или этнографический характер, или принимают вид мелких фотографий. Местные интересы здесь выступают с особенной ясностью, и поэтому такие рассказы можно отнести к еще нарождающемуся отделу беллетристики, именно — областному.

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО ВОСПОМИНАНИЯ

ОТРЕЗАННЫЙ ЛОМОТЬ
Воспоминания

ПРОВОДЫ

I

В жизни каждого человека бывают решающие моменты, те «дни посещения», когда происходят многознаменующие душевные перевороты. Для меня именно таким явился серенький августовский денек, когда я проснулся на чусовской пристани Межевая Утка.[2]

В большой и светлой гостиной, выходившей окнами на Чусовую, на столе уже кипел самовар, и около него собрались все действующие лица: мой отец, мой старший брат Николай, его товарищ Николай Тимофеич и хозяин дома Федор Петрович Мазурин. Тут же вертелись двое хозяйских детей, мальчик и девочка, которые с детским любопытством следили за совершавшимся событием. Все отъезжавшие были одеты по-дорожному и торопливо допивали чай. Федор Петрович выходил несколько раз в переднюю и отдавал кому-то приказания. Это был высокий, русоволосый господин с румяным лицом и слегка вившимися темно-русыми волосами.

— Чемоданы уложены? — слышалось из передней. — Хорошо… Не забудьте черпаки для воды. Как шитик?[3]

У моего отца было тревожное выражение, и он все посматривал в окно.

— Как бы не зарядило ненастье… — повторял он несколько раз.

— Нет, погода разгуляется, — успокаивал Федор Петрович. — До Кашкинского перебора не успеете доплыть, как солнышко выглянет. Я уж знаю…

Мне очень нравился этот Федор Петрович, как замечательно простой и добрый человек. Он так хорошо улыбался, когда говорил, и несколько раз гладил по головке маленькую розовую девочку.

Чай был кончен. Главные действующие лица — брат и Николай Тимофеич, пятнадцатилетние подростки, имели немного

смущенный вид, как артисты, которые за кулисами приготовляются к своему первому выходу на сцену. Брат Николай был бледный и худенький темноволосый юноша, а Николай Тимофеич — белокурый, широкий в кости крепыш с такими умными серыми глазами. Отец вез их в Пермь для поступления в духовную семинарию, — они только что кончили духовное училище в Екатеринбурге. Брат держался как-то равнодушно, а Николай Тимофеич, видимо, стеснялся незнакомой обстановки.

— Все готово, — заявил Федор Петрович, выглядывая в окно.

— Ну, господа, пора… — торопил отец.

По русскому обычаю, когда оделись по-дорожному, все присели на минутку, помолились и начали прощаться. Помню, как отец обнял меня крепко-крепко, благословил и сказал:

— Кланяйся маме… Тебе на днях тоже нужно будет ехать. Будь умным…

Мы вышли на берег Чусовой, которая катилась красивой излучиной, — справа ее подпирала река Утка, а впереди точно загораживала дорогу гора Красный Камень. Противоположный берег сплошь был покрыт густым хвойным лесом. Самая пристань очень красиво разметала свои бревенчатые избы по угору. На стрелке, где Утка сливалась с Чусовой, стояла караванная контора и был устроен громадный шлюз, за которым строились и оснащивались барки-коломенки. Весной, во время сплава, эта пристань жила самой кипучей жизнью, а потом точно засыпала на целый год. Меня удивляло больше всего то, что дальше с этой пристани не было никакой колесной дороги, точно здесь кончался весь свет.

У берега стоял шитик, около которого столпилась кучка любопытных. Багаж был уложен в носу шитика и прикрыт рогожкой.

— Ничего, погодка разгуляется, — повторял Федор Петрович, глядя на хмурившееся осеннее небо, с которого сыпался мелкий, как пыль, осенний дождь «сеногной».

Мы еще раз попрощались, и отец с улыбкой проговорил:

— Дальние проводы — лишние слезы… Прощайте!

Как сейчас вижу отца, одетого в черную осеннюю рясу из тяжелого драпа, с широкополой черной шляпой на голове. Он был высок ростом, широк в плечах, а костюм делал его еще массивнее. Как сейчас вижу его бледное лицо, строгое и доброе, с серыми, добрыми глазами и большой, окладистой русой бородой, придававшей ему какой-то особенно патриархальный вид. Для меня лично слово «отец» связано с представлением именно такого отца, сильного, ласкового, доброго и всегда серьезного. Только дети чувствуют в полной мере эту спокойную мужскую силу,

красивую в каждом своем движении.

Брат и Николай Тимофеич уже заняли свои места на скамеечке посреди лодки и пробовали весла, причем у брата было недовольное лицо, — он не отличался особенной энергией, а предстояло на лодке сделать по реке больше трехсот верст. Конечно, был свой расчет на быстроту течения горной реки, но все-таки в виду предстояло ехать больше недели.

Отец занял место на корме, и шитик тихо отвалил от берега, а потом его подхватила сильная речная струя и понесла вперед, к Красному Камню. Мы стояли на берегу и долго махали фуражками. Шитик с каждой минутой делался все меньше и меньше, так что, наконец, трудно было разглядеть отдельные фигуры. Вот он огибает уже мыс, который с левого берега подвинулся к самому Красному Камню, — еще несколько томительных минут, и лодка скрылась за поворотом, точно бойкая горная река проглотила ее. Первое ощущение, которое меня охватило, — это ощущение одиночества. Мне хотелось побежать по берегу, догнать лодку и крикнуть: «Папа, возьми меня с собой…» Что-то такое сдавило горло, и я почувствовал себя таким одиноким, маленьким и беззащитным.

— Ну, малыш, пойдем… — вывел меня из тяжелого раздумья Федор Петрович. — Нужно закусить, а там поедешь в Висимо-Уткинск. Лошади за ночь отдохнули, живо доедешь…

Я ничего не понимал, охваченный своим детским горем, и повиновался механически, как манекен. Раньше я относился к этим проводам как-то легкомысленно и только сейчас понял всю важность случившегося. Слезы так и подступали к горлу, но я сдерживался, потому что — «плачут только девчонки». А одиночество точно все больше и больше накоплялось, застилая все остальное, даже Федора Петровича, который говорил что-то такое в мое утешение.

Вернувшись в комнату, я почувствовал новый прилив детского горя, потому что каждая мелочь напоминала о разлуке с дорогими людьми. Вот стоит недопитый второпях стакан чая; на этом стуле сидел в последний раз отец; на столе осталась забытая им в дорожной суете люстриновая коричневая ряса; брат со свойственной ему рассеянностью забыл на окне завернутые в бумагу «подорожники», которые мать приготовила специально для него, и т. п.

Пока закладывали лошадей, я стоял у окна и смотрел на горную красавицу Чусовую, которая унесла дорогих сердцу людей. Какая она действительно чудная, эта Чусовая! От нее так и веяло подавленной силой, точно вот эти зеленые горы посылали эту силу в чужую, теплую даль, как дорогой подарок.

II

Дорога с Межевой Утки до родного Висима шла через Висимо-Уткинский завод и сама по себе решительно ничего особенного не представляла. Пара крепких «киргизок» быстро несла легкую долгушку; разбитной заводской кучер весело посвистывал, и двадцать верст промелькнули незаметно. Меня удивляло только одно, именно, что этот кучер решительно ничего не хотел замечать и, видимо, оставался совершенно равнодушным ко всему случившемуся. Это было возмутительно, и я к концу дороги начал его ненавидеть. Мне казалось, что он нарочно притворяется. Бедный, милый папа, где-то он плывет на своем шитике?.. Меня радовало только одно, что, как предсказывал Федор Петрович, погода действительно разгулялась, и выглянуло такое ласковое осеннее солнышко.

Висимо-Уткинский завод походит на все маленькие уральские горные заводы: заводский пруд, под ним — фабрика, на горке — белая каменная церковь, по гористым берегам реки Утки и пруда точно рассыпаны уютные заводские домики. Лес был близко, и стройка везде была хорошая. За фабрикой на берегу реки Утки прятался в зеленом саду низенький господский дом, где жил старичок-управитель Степан Яковлевич, который в разговоре употреблял странную поговорку: «Я говорю: да, любезнейший!» Когда он сердился, поговорка прибавлялась чуть не к каждому слову. Недалеко от господского дома — заводские конюшни, где стояли две знаменитые лошади, — одну звали «Не хочу», а другую — «Не пойду». Все эти мысли проходили у меня в голове, пока долгушка поднималась на горку к церкви и огибала ее, чтобы остановиться у деревянного домика в три окна, где жил наш знакомый заводский служащий Никон Терентьич, женатый на сестре Николая Тимофеича. Это был красавец мужчина, черноволосый, румяный, высокого роста.

— Придется малость обождать, — заявил он после расспросов об отъезде отца. — Ужо кто-нибудь поедет в Висим и тебя захватит…

Но я не захотел ждать. До Висима было всего девять верст, и дорога шла уже горами.

— Я пешком дойду, Никон Терентьич…

— Что же, можно и пешком, — согласился Никон Терентьич довольно равнодушно. — Дождя нет…

Мне показалось, что он относится ко мне уже иначе, чем вчера, когда мы были у него вместе с отцом. У меня зародилось впервые сознание собственной ничтожности. Да, не будь отца, и я для Никона Терентьича имел бы не больше значения, чем та

осенняя муха, которая во время нашего разговора жужжала и билась головой в оконное стекло.

Попрощавшись, я направился пешком домой. Все эти девять верст пути были одной мыслью об отце, которого я уж не увижу до самого рождества.

С раннего детства мне много раз приходилось ездить по этой дороге, и я знал каждую горку, каждый мостик, поворот дороги, менявшиеся картины леса. Сначала из завода нужно было пройти по сплавному мосту на другую сторону довольно узкого заводского пруда, потом шла широкая улица, где жили «кержаки», как называют на Урале раскольников, а там, сейчас за жилом (селеньем), начинались лес и горы. Солнце светило, омытая дождем зелень казалась такой яркой, по сторонам дороги стояли кусты шиповника с ярко-красными созревшими ягодами. Я шагал по стороне, по пробитой пешеходами тропинке, вспоминая, как вот по этой дороге мы столько раз ездили с отцом.

— Милый, бедный папа… — шептал я, прижимая к груди узелок с его рясой, от которой «пахло церковью», то есть ладаном и воском.

Мне почему-то было страстно жаль отца. Наверно, он теперь тоже думает обо мне… Ведь он такой добрый и хороший.

Во время своего пути я шаг за шагом передумал все свое раннее детство, начиная с того времени, когда отец по вечерам носил меня по комнате на руках и что-нибудь рассказывал. Я любил слушать эти рассказы и засыпал на сильных руках. Что ни шаг, то новое семейное воспоминание, и везде отец выступал в ореоле своей спокойной, мужественной любви, которая проявлялась с особенной силой, когда мы, дети, бывали больны. Стоило ему войти в комнату, как уже чувствуешь себя лучше. В болезнях есть своя философия, а в детских болезнях — в особенности. Каждая болезнь точно вносит какое-то внутреннее просветление, и детское сознание взбирается на следующую ступеньку. Отлично помню, что в детстве я совсем не испытывал страха смерти, даже тогда, когда она стояла над головой, и объясняю это тем, что всегда около был отец, спокойный, ласковый, строгий. Это была та сила, за которую хватались слабевшие детские руки, как за свое единственное спасение. Впоследствии я видел много других отцов, которые совершенно терялись в таких случаях и которых успокаивали и утешали больные дети. Моя мать была такого же типа женщина, но она казалась мне более строгой, чем отец, — на ее долю выпадало слишком много мелких будничных забот, и к вечеру, управившись с дневной работой, она была «рада месту», то есть отдыхала за новой работой, как бесконечное шитье. Без работы я

не видал ни отца, ни матери. Их день всегда был полон трудом. Все утро отец проводил в заводской школе, где занимался один, а там шли требы, чтение и бесконечная работа с разными церковными отчетными книгами.

Нас в семье было четверо детей. Был пятый, но умер от крупа. Кстати, часто бывает, что все преисполнены щемящего страха всевозможной заразы, особенно за детей. Мой отец, как священник, постоянно имел дело со всевозможными больными, когда приглашали его напутствовать умирающих, хоронил и тифозных, и дифтеритных, и скарлатинных; прибавьте к этому, что о мерах предохранения от заразы в то время имелись самые смутные представления, — и все-таки в нашем доме всего был единственный заразный случай с грудным ребенком, когда эпидемия крупа валила кругом детей сотнями.

Вопрос о нашем воспитании, то есть двух старших сыновей, начал занимать отца и мать очень рано, задолго до наступления нашего школьного возраста. Помню по этому случаю споры отца с дедушкой, отцом матери. Отец хотел непременно отдать нас в гимназию, а дедушка именно этого и не желал.

— Пустякам там учат, — спорил он. — Пусть лучше поступят в духовное училище… Там выучат.

Отец всегда страшно волновался, когда разговор заходил о духовном училище. Он был отдан туда восьми лет, прямо в бурсу и не мог вспоминать о своем учении без ужаса.

Был один момент, когда заветное желание отца готово было сбыться. Директор екатеринбургской гимназии, он же и инспектор народных школ по Зауралью, ревизовал народные училища и, между прочим, заехал в наш Висим. Помню его фамилию: Крупенин. Понравилась ли ему школа, которую отец вел без помощи учителя в течение восьми лет совершенно безвозмездно, или, может быть, понравился ему отец, — он дал обещание принять нас в свою гимназию. Для отца это было величайшей радостью. Но, к сожалению, когда наступило время нашего учения, Крупенина уже не было в Екатеринбурге, — не помню хорошенько, перевели его на другое место или он умер. Отчаянию отца не было границ. Непреодолимой преградой для отца являлась плата за учение, составлявшая, по-нынешнему, ничтожную сумму в пятнадцать рублей.

— Где же я возьму тридцать рублей за двоих? — повторял он. — Крупенин обещал освободить от платы… А тут еще форма гимназическая, учебники. Нет у меня таких денег, негде их взять… Жалованья получаю двенадцать рублей, доходы ничтожные.

Приход у отца был маленький, и соответственно с этим были

малы доходы. Деревенские приходы, конечно, были лучше, особенно в благословенном Зауралье, но отец ни за что не хотел туда идти, потому что там священники ходят по приходу с «ручкой», собирая «петровское», «осеннее» и «ругу». Он предпочел свою бедную заводскую независимость.

III

Насколько искренне было в этом случае горе отца, могу привести следующий эпизод.

Когда мечта о поступлении в гимназию была разрушена, отец начал приготовлять нас троих, меня с братом и Николая Тимофеича, к поступлению в духовное училище. Кстати, Николай Тимофеич был сын нашего заводского дьякона, и я не помню, чтобы его в детстве называли иначе, как Николай Тимофеич. Мне шел двенадцатый год, а Николай Тимофеич и брат были старше меня на два года. Почему-то отец готовил всех нас в один класс, именно в «высшее отделение» тогдашнего дореформенного уездного духовного училища, делившегося на три отделения — низшее, среднее и высшее, с двухгодовым курсом в каждом. Мы готовились целое лето, причем мне это не стоило особенного труда благодаря чудной памяти: мне достаточно было прочитать два раза две-три страницы текста, и я мог повторить их из слова в слово, а латинские и греческие склонения и спряжения я не учил, а только читал, — прочтешь один раз, и дело готово. Через три года, после жестокого тифа, я навсегда утратил эту память.

К осени приготовления были кончены, и отец повез нас троих в Екатеринбург. Брат и Николай Тимофеич выдержали экзамен, а я струсил, оказался слабее и был принят условно. Отец поместил нас троих на одной квартире, а сам уехал погостить на несколько дней к тестю. Вся обстановка бурсацкого учения на меня подействовала совершенно ошеломляющим образом, сравнить которое с чем-нибудь невозможно. Я совершенно растерялся, как теряется выпавший из теплого гнезда неоперившийся цыпленок. Отец вернулся и, вероятно, без слов заметил, что дело не ладно. Брат и Николай Тимофеич отмалчивались, ограничиваясь сообщением некоторых смешных эпизодов. Я ничего не говорил. Вечером, когда все улеглись и заснули, отец что-то долго писал. Наша общая постель была устроена на полу, и я не мог заснуть, потихоньку наблюдая отца. Когда он лег, то удивился, что я не сплю.

— Ты еще не спишь?

— Нет, папа.

— Тебе нездоровится?

— Нет, я здоров… Так…

Дальше я не мог выдержать и горько расплакался. Было совершенно темно, и разговор велся шепотом, чтобы не разбудить брата и Николая Тимофеича. Заглушая рыдания, я рассказывал, как мне было тяжело, какое ужасное место наше «высшее отделение», отчаянная бурса и вообще все училищные порядки. Но меня еще больше поразило, когда я услышал, что отец тоже плачет. Я видел в течение жизни всего два раза, когда отец плакал: первый раз, когда умирал от крупа маленький брат, Петя, причем я искренне удивлялся, что такой большой человек может плакать о такой маленькой козявке, и во второй и последний раз — сейчас. Он обнимал меня, целовал и говорил, что увезет домой, что и сделал. Это возвращение под родную кровлю было омрачено при первом же моем появлении, когда встретивший нас единоверческий священник о. Николай сказал мне:

— Что, брат? Убояхся бездны премудрости и возвратихся вспять… Все равно, брат, ты — отрезанный ломоть, как тебя ни верти.

Таким образом, мне пришлось провести целых два года «без определенных занятий». Старшего брата не было, и мне приходилось коротать время в одиночестве, причем единственным удовольствием были книги. В нашем доме книга играла главную роль, и отец пользовался каждой свободной минутой, чтобы заняться чтением.

— Это мой отдых, — объяснял он.

Кроме классиков, в нашем доме начали уже появляться издания начала шестидесятых годов, и я отлично помню, как отец приносил новые книжки от заводского управителя. Я, конечно, не мог воспользоваться этими новыми книгами и только был свидетелем, как их читали и о них говорили. Вместе с книжками появились и новые люди, причастные заводской администрации, сразу потерявшей после 19 февраля свой исключительно крепостной характер.

В моих воспоминаниях отец так и сохранился, как человек, который вечно был занят и отдыхал только за книгой или газетой.

Но это была одна сторона дела. Как священник, отец, конечно, знал свой приход, как пять пальцев, особенно горе и бедность своей паствы. В нашем доме, как в центре, сосредоточивались все беды, напасти и страдания, с какими приходится иметь постоянно дело истинному пастырю. Эти постоянные разговоры о страданиях придавали общему складу нашей жизни немного печальный характер, а наша скромная

обстановка казалась какой-то роскошью. Да, там, за стенами нашего дома, были и голодные сироты, и больные, и обиженные, и пьяные, и глубоко несчастные… Мысль о них отравляла то относительное довольство, каким пользовалась наша семья, и мне глубоко запали в душу слова, которыми отвечал обыкновенно отец, если я приставал к нему с требованием что-нибудь купить:

— Ты — сыт, одет, сидишь в тепле, а остальное — прихоти.

Кажется, что проще этих слов и кто их не знает, но они навсегда остались в моей голове, как своего рода маленькая программа для личных потребностей. Одним словом — «прихоти» — сказано все… Ведь это громадное богатство — не завидовать и не желать того, что является излишеством и бессмысленной роскошью. А сколько людей томится вечной неутолимой жаждой именно такой роскоши, для которой приносится все в жертву…

Моя детская жизнь, конечно, не обходилась без некоторых правонарушений и неизбежных детских шалостей. Одной из самых сильных мер в видах моего исправления был рассказ о двух дьячках, который отец повторял с самой трогательной убедительностью. В качестве подсудимого я должен был выслушивать его до конца. Заключалась эта история в том, что один дьячок был скромен, послушен, трудолюбив, добр и честен, а другой обладал совершенно обратными качествами, в результате чего получились соответствующие плоды: мудрый дьячок прожил всю жизнь счастливо, и все его любили, а дьячок злой и ленивый погиб под тяжестью собственных недостатков. Изображение этого последнего дьячка выходило, конечно, рельефнее, как всякий отрицательный тип, особенно, когда отец начинал рассказывать о его пьянстве и соединенных с этим занятием последствиях. Сам отец во всю свою жизнь не выпил ни капли вина. Говоря откровенно, мне оба дьячка были противны, потому что выступали на сцену в самые неприятные минуты моей жизни, как живые свидетели моих детских прегрешений, и, кроме того, я чувствовал, что они вели в моей душе неустанную борьбу, с переменным счастьем, как своего рода Ормузд и Ариман.

* * *

Да, я шел по дороге и старался вызвать все те картины своей жизни, где выступал отец. Я старался припомнить выражение его лица в разных случаях этой жизни, тон его голоса, взгляд добрых и строгих серых глаз, добродушную улыбку, которая постоянно освещала его лицо. Не было ни одного горького воспоминания, ни одного детского упрека, и чем дольше я думал, тем выше и

выше вырастал в моих глазах этот благословивший мое детство образ. А солнце так хорошо светило; кругом выше и выше теснились родные зеленые горы; вот и последняя Лисья гора, с вершины которой открывался далекий вид на родной Висим. Я присел на камень, чтобы отдохнуть, и почувствовал себя самым несчастным человеком в мире. Эта первая душевная детская гроза разрешилась горючими слезами.

— Милый, дорогой папа…

Да, я уже сделался отрезанным ломтем…

Не могу не привести здесь чудное стихотворение из В. Гюго, в переводе Плещеева:

Еще совсем малюткой, в колыбели,
Однажды близ меня заснула ты…
А я стоял в раздумьи… Окружала
Нас сумерек таинственная мгла.
Придет пора, голубка дорогая,
Я в свой черед засну глубоким сном,
И ночь меня окутает немая.
Мрачней тюрьмы мой тесный будет гроб,
И птички я не буду слышать трели…
Тогда молитвы, слезы и цветы,
Все, что дарил твоей я колыбели, —
Все возвратишь моей могиле ты!

У меня на далеком родном Урале осталась именно такая дорогая могила…

ДОРОГА

I

После отъезда отца наш дом опустел и точно замер. Мне часто казалось, что вот-вот отец войдет, и я даже слышал его шаги, привычку легко покашливать и его голос. Раз в нашем садике я совершенно ясно слышал, как он позвал меня, и почему-то страшно перепугался. Потом мне приходили в голову самые мрачные мысли: а вдруг отец заболеет и умрет? Мне ярко рисовалась ужасная картина нашего сиротства, и хотелось плакать: как мы будем жить, когда старшему брату было всего пятнадцать лет, а младшей сестре только полгода? Я достаточно насмотрелся на чужое сиротство и вперед переживал свою беду. И

это был страх не за то, что вся семья останется без средств и будет бедствовать, нет, материальные расчеты отходили на задний план, а выступала главным образом нравственная сторона — потерять духовную опору, нарушить, так сказать, собирательную душу семьи. Прошло много лет, а я и сейчас до мельчайших подробностей представляю себе свое тогдашнее душевное настроение. Вообще, из хорошей, крепко сложенной семьи нельзя вырвать ни одной части, не подрывая в корне органическое существование целого.

Странно, что для меня сразу потеряли всякий смысл все детские игры и занятия, которым мы с моим другом Костей предавались раньше. Ведь каждая детская игрушка живет своей собственной жизнью, она согрета теплотой детского сердца и детского воображения, она несет в себе первые проблески просыпающейся личности, и вдруг она делается ненужной, лишней и умирает: если есть жизнь, то должна быть и смерть. Костя приходил ко мне, мы пробовали сделаться самими собой, но из этого решительно ничего не выходило. Мой друг тоже был невесел. Он завидовал мне, что я еду учиться, а он должен оставаться дома. В моменты малодушия я охотно готов был предоставить ему все свои преимущества в этом отношении, но когда мы были вместе, я начинал притворяться и говорил о будущем с полной уверенностью.

— Колотить будут тебя бурсаки, — уверял Костя, страдая от зависти.

— Колотить? — храбрился я. — Нет, ты не знаешь моего характера… Я, брат, и сам могу поколотить. Очень просто…

— Ну, брат, там найдутся такие силачи…

— А у меня есть перочинный нож. Да… В случае чего… Одним словом, я шутить не люблю.

Будущий герой, в сущности, очень трусил, припоминая короткий опыт своего учения; но у Кости была скверная привычка поддразнивать, а тут всякий сделается героем. Мне кажется, что многие герои делались героями только из трусости и что в каждом человеке самым мирным образом уживаются и трус и герой.

Моя мать отличалась всегда ровным, невозмутимым характером и была вечно так занята, что не оставалось времени для горьких дум. По отношению ко мне она осталась все такой же, ничем не проявляя своего настроения. На меня это действовало ободряющим образом. Что же, ехать так ехать… Мать выдержала свой характер до конца, до самого момента разлуки. Дело в том, что мне приходилось ждать «оказии», чтобы доехать сначала до Нижнетагильского завода, а там опять ждать «оказии»,

чтобы доехать до Екатеринбурга. На мое счастье, первая «оказия» не заставила себя ждать. Я прождал дома после отъезда отца всего несколько дней. Раз утром я бродил в садике, как мать крикнула мне в окно, что в Тагил едет Терентий Никитич и что она успела его остановить на дороге.

— Скорее, скорее… — торопила она, хотя, собственно, торопиться было некуда, — все давно было готово.

Мой багаж состоял из одного большого белого мешка, в котором зашито было все мое имущество. Мой младший братишка настолько был еще мал, что относился к моему отъезду совершенно равнодушно и, кажется, интересовался больше судьбой этого мешка, особенно когда заводский кучер Паньша (уменьшительное от Памфил) начал его привязывать к заду дорожной долгушки. Терентий Никитич, средних лет господин, высокий и коренастый, с добродушным русским лицом, был очень доволен, что мог доставить меня в Тагил.

— Все равно ехать, а двоим веселее, — повторял он, когда мать извинялась за беспокойство.

Мой мешок был привязан, я торопливо простился с матерью и братишкой и довольно храбро занял свое место в экипаже. Мать не плакала, а только смотрела на меня своими большими карими глазами.

— Ну, с богом! — проговорил Терентий Никитич. — Паньша, трогай!..

Пара крепких киргизок рванулась разом, и наша долгушка полетела вперед, как перышко. На повороте, где дорога повертывала влево, я оглянулся, — мать стояла у ворот, держа на руках маленькую сестренку.

— Мама, прощай!.. — крикнул я.

Прощай навсегда и золотое детство, и родное гнездо, и родные, бесконечно любимые люди!..

Наша дорога огибала новый заводский пруд, к которому сошлись все три конца, на которые делилось заводское население: кержацкий (раскольничий), хохлацкий и туляцкий. С деревянного моста, перекинутого через реку Висим, в последний раз я посмотрел на родной дом. Дальше дорога шла туляцким концом, широкие, правильные улицы которого были уставлены такими крепкими избами. На самом выезде дорога поднималась в горку, и с этой высоты открывался вид на весь завод с деревянной церковью в центре и с дымившей под плотиною старого пруда фабрикою. Нашего дома в этой кучке построек уже нельзя было различить, а можно было только угадывать приблизительно его место.

Терентий Никитич, вероятно, намеренно велел Паньше

придержать лошадей, чтобы я мог в последний раз посмотреть на родное место. Да, тут все было родное, и я составлял только атом этого громадного органического целого. Через многие-многие годы шлю свой привет дорогому Висиму и вижу его теми же глазами, какими видел его в этот роковой день.

— Паньша, трогай! — скомандовал Терентий Никитич.

Я чувствовал, что он наблюдает меня, не расплачусь ли я, но я выдерживал характер и выехал с сухими глазами.

— Молодец! — похвалил меня Терентий Никитич, гладя по спине своей широкой ладонью.

Что такое родина в тесном смысле слова? Какие таинственные нити связывают нас с ней на всю жизнь? Отчего и сейчас я не могу без волнения думать о ней, вызывая в воображении целые вереницы картин, сцен и лиц? Почему кажется, что ты должен был родиться именно здесь, где родился? Почему, когда человек начинает стариться, он с такой любовью обращается к местам, освященным именно первыми детскими воспоминаниями? Мне делается как-то жутко при одной мысли о тех миллионах городских детей, детские воспоминания которых безнадежно упираются в стену соседнего дома, ограничиваются тесными пределами какого-нибудь чердака или подвала, двором грязного многоэтажного дома, пыльною мостовой и, — в лучшем случае, — своею собственною городскою квартирой. Да, это уже не дети, а квартиранты, жизнь которых размечена только разными квартирами, а для избранников — какой-нибудь дешевенькой дачкой.

II

Дорога из Висима в Тагил идет все время горами, пересекая водораздельную линию между Европой и Азией. Мне особенно нравилась первая половина этой дороги, если ехать не прямо на Тагил, а сделать повертку на Черноисточинский завод. Самый выезд из завода открывался красивой еловой порослью, куда мы каждую осень бегали за рыжиками. Дальше по течению реки Висима начинались покосы, а в числе их и наш, на откосе горы Пугиной. Это было чудное местечко, куда отец любил ездить «с чаем». Тут и бойкая горная речка, и роскошный луг, и лес, и студеный ключик. Для нас, детей, было величайшим наслаждением съездить на покос. Увы! Сейчас, вероятно, я не узнал бы этого места, потому что по всему течению реки Висима открыто золото, и от нашего покоса, без сомнения, не осталось даже следов.

С дороги, где был спуск к реке Висиму, я видел наш покос и мысленно прощался с ним, как прощаются с близким и дорогим человеком.

— Прежде на Пугиной горе я много бил белки, — рассказывал Терентий Никитич, очевидно, старавшийся развлекать меня. — Бывало, идешь с охоты и кругом всего пояса навешана белка, как бахрома. Ну, а нынче шабаш!.. Как-то целый день бродил по Пугиной и Шульпихе, и хоть бы одна белка попалась. Ведь маленькая зверушка, эта самая белка, а какая хитрая: летом, когда она красная, хоть руками ее бери, а как только выпал снег, сделалась она серой — кончено! Идешь по лесу, собака нашла, облаяла, подойдешь к дереву, — ничего не видно. Непременно эта самая белка заберется в густую ель, в самую вершину, где ее и не просмотришь. Ну, у нас, у охотников, свое средствие: возьмешь топорик, очистишь кору на ели и обухом по голому месту: бух!.. Молодая белка не выдерживает и бросается на другое дерево, а старая еще поглубже заберется, заляжет между сучками, и ничем ее оттуда не возьмешь, хоть дерево руби. Случалось так, что и дерево рубили: подрубишь дерево, оно повалится, а белка прыг на другое, — только ее и видел. Да, бывает.

Как теперь вижу лицо этого Терентия Никитича, такое доброе, хорошее лицо! Мне кажется, что есть какая-то необъяснимая таинственная связь между именем и человеком, который его носит. По крайней мере я другого Терентия Никитича в своей жизни не встречал. Отлично помню даже то место дороги, где он мне рассказывал об охоте по белке, именно — поворот около горы Пугиной.

Дальше следовал маленький перевал к деревне Захаровой, где через речонку, — кажется, тот же Висим — был ужасно крутой спуск. Здесь по обеим сторонам моста раскинулся знаменитый прииск «Рублевик», который давал тысячи пудов платины в крепостное время и, кажется, разрабатывается посейчас. Мы ехали в области настоящей уральской Калифорнии, где богатствам не было счета и все сокровища сосредоточивались на расстоянии нескольких десятков квадратных верст. Наша дорога пролегала прямо по золотым и платиновым россыпям. В описываемое мною время — середина шестидесятых годов — деревня Захарова являлась самою убогою деревушкой, половина населения которой после объявления «воли» ушла в Барабинскую степь. На земле, насыщенной миллионами, стояло около полутора десятка развалившихся избенок. Правда, что тогда платина стоила от 10 до 30 копеек за золотник, а сейчас она стоит около 3 рублей золотник. Кажется, это роковая судьба

многих русских богатств: их начинают ценить только тогда, когда они исчезли.

От Висима до Захаровой было всего восемь верст, а на четырнадцатой версте стоял столб, обозначавший границу между Европой и Азией. Это был самый обыкновенный столб, напоминавший трактовую версту, и меня всегда удивляло, что такой важный географический пункт был отмечен таким ничтожным знаком.

— Теперь мы, брат, в Азию перевалили, — объяснял мне Терентий Никитич. — Были в Европе, а теперь покатим в Азию. И даже очень просто…

Я знал отлично значение пограничного столба и все-таки испытывал каждый раз какое-то неопределенное волнение, когда ехал мимо, точно переступал какую-то заколдованную черту.

Сейчас за перевалом начиналась совершенно другая картина, как и везде на Урале, где восточный и западный склоны резко отличаются. Дорога шла красивыми изгибами между лесистыми зелеными горами, а потом выходила на крутой обрыв реки Чауша. В детстве я почему-то особенно боялся именно этого обрыва, где дорожная колея шла по самому краю.

— Вот здесь свалился один мужичок с возом, — рассказывал Терентий Никитич. — Его возом-то и накрыло. Мертвого нашли…

Черноисточинский завод расположен на истоке большого Черного озера, и благодаря массе воды он казался гораздо красивее нашего Висима. От него до Тагила было что-то около двадцати верст, но характер дороги сразу менялся, — это была просека, которая шла прямою линией, так что с вершины каждой горы открывался вид верст на пять, и благодаря этому получалось такое впечатление, точно вы едете по какому-то коридору. — Точно плетью ударено по горам, — объяснил наш кучер Паньша. — Никакого фасону…

Кучер Паньша был типичный заводский кучер, ленивый, сильный, с выбритым затылком и сознанием собственного кучерского достоинства. Это был истинный сын знаменитой когда-то заводской конюшни, заменявшей собой острог, пожарную и место экзекуции. По сибирской привычке, Паньша лихо пускал в гору, кричал на встречных и вообще держал себя с шиком настоящего заводского кучера.

Начиная от Черноисточинского завода, я уже чувствовал себя чужим все больше и больше, точно въезжал в какое-то чужое государство. Вероятно, Терентий Никитич подметил начинавшийся у меня упадок духа и старался, по возможности, направить мои мысли в другую сторону. Теперь не могу в точности припомнить, что он мне рассказывал, но в памяти

сохранились только отрывки истории какого-то Демидова, одного из родоначальников этой знаменитой фамилии уральских заводчиков, который жил где-то на островах Черного озера, под Белою горой. Потом он рассказывал о медном тагильском руднике, о знаменитой Высокой горе, составляющей сплошную массу магнитного железняка в тридцать пять миллиардов пудов. Но все эти вещи меня сейчас мало интересовали, и мысль о том, что мы с каждым шагом дальше и дальше уезжаем от Висима, заслоняла все остальное. Мне начинало казаться, что я делаюсь все меньше и меньше и что впереди — все чужое и враждебное. В самом деле, кому какое дело до какого-то мальчишки? Ведь на свете так много детей, у которых под рукой была какая-нибудь защита, а я был один, один, один…

— Ну, что ты молчишь? — спрашивал меня Терентий Никитич и ласково трепал по спине.

А я думал о своем Висиме, который делался все милее и милее. Мне припоминался Терентий Никитич, каким я его знал в заводской конторе, когда он сидел за своим письменным столом, потом когда он по праздникам пел свежим тенорком на левом клиросе нашей церкви, наконец, когда он бывал в нашем доме в дни семейных праздников, как именины отца. Младший сын Терентия Никитича, Алеша, был нашим приятелем с Костей и принимал живое участие в наших играх и шалостях.

III

С раннего детства я испытывал какое-то непонятное и жуткое чувство, когда с отцом приезжал в Тагильский завод или Екатеринбург. На меня угнетающе действовала эта масса домов, торопившиеся куда-то люди и вся обстановка людного, бойкого места. Мне казалось, что здесь именно живут всё гордые и сердитые люди, которые почему-то должны меня презирать. Так было и теперь, когда мы въезжали в Тагил с Терентием Никитичем.

— Вот она матушка, Высокая гора, — объяснял мне Терентий Никитич, указывая влево на небольшую сравнительно гору с остатком соснового леса на вершине и разрытым уступами боком, по которому ползли рудниковые таратайки, точно мухи. — На тысячу лет руды хватит… А вон видишь громадную зеленую трубу, — это медный рудник. Медная руда лежит глубоко в земле, сажен на восемьдесят. Трудно работать под землей, душно…

По Меднорудинской улице мы выехали к громадной фабрике.

— Вон белый дымок попыхивает, — указывал Терентий Никитич, — это паровая машина работает. У нас в Висиме такой нет…

Мы быстро прокатили по деревянному мосту, перекинутому через реку Тагил, — Паньша хотел показать тагильским заводским кучерам, как ездят по-настоящему висимские кучера. С моста мы лихо взяли в гору, где на площади стоит монументальное здание главной конторы всех заводов с громадною колоннадой, поддерживающею фронтон. На площади перед конторой поставлен великолепный бронзовый памятник одному из Демидовых. Один висимский хохол ехал мимо этого памятника ночью и принял его фигуры за пильщиков, которых за какую-то провинность заставили работать всю ночь напролет.

Дальше шла улица, соединявшая главную площадь с громадным тагильским базаром. На этой улице сосредоточены были тогда главные магазины с красным товаром, галантереей и бакалеей, и я, как висимский хохол, каждый раз удивлялся тому, сколько нужно безумно богатых людей, чтоб покупать содержимое этих роскошных магазинов.

— Да, в Тагиле много богатых людей, — вслух думал Терентий Никитич, очевидно охваченный такими же соображениями, как и я. — И откуда только, подумаешь, люди деньги берут…

Мы проехали через весь базар, установленный такими же деревянными лавками, как и висимский, затем повернули в улицу, которая вела из Тагила в Екатеринбург, и остановились у маленького двухэтажного деревянного домика в три окна, где жила мать Терентия Никитича. Мне кажется, что у каждого дома есть своя физиономия. Есть дома, которые прямо смотрят на вас такими приглашающими, добрыми глазами, как и домик, у которого мы остановились. В окно выглянула какая-то старушка в темном платочке на голове и, как мне казалось, посмотрела на меня с удивлением.

— А я думала, что это Алеша… — говорила она, когда недоразумение разъяснилось.

— Учиться едет, — говорил Терентий Никитич.

— Как же один-то?..

— Так уж вышло. Ничего, доедет…

И домик был добрый, и старушка добрая, и всякая мелочь домашней обстановки казалась мне доброю. Когда мы пили чай, старушка все смотрела на меня и качала головой.

— Не легкое место доехать до города, — думала она вслух. — Мал еще… Чего бы не случилось дорогой.

— Чему случиться-то? — сказал Терентий Никитич. — Вот

найдет обратную подводу до Екатеринбурга и уедет. Тоже везде живые люди, а не звери…

— Так-то оно так, а все-таки мало еще место…

— Этакой-то богатырь да не доедет? — шутил Терентий Никитич, по своей привычке гладя меня по спине.

Он тут же дал мне и совет, где нужно будет искать «обратную подводу». Прежде всего надо обойти постоялые дворы около базара, где останавливаются обозные ямщики, и спросить, нет ли обратных в Екатеринбург. Потом по нескольку раз в день нужно обходить базар и спрашивать в хлебных лавках и т. д.

Терентий Никитич прожил в Тагиле три дня и почти не бывал дома, кроме обеда и ужина. У него были свои заводские дела в главной конторе. Я с утра отправлялся на обход постоялых дворов и мучных лавок, но ничего подходящего не находилось. Были и ямщики и обозы, но не подходящие для меня: одни отправлялись по гороблагодатскому тракту в Пермь, а другие шли в Екатеринбург, но с какою-нибудь кладью, так что мне места не находилось.

— Куда ты на возу-то поедешь? — объясняли загорелые, бородатые ямщики, говорившие со мной, как с большим человеком. — Задремлешь ночью и как раз с возу скатишься где-нибудь в нырке. Дорога-то теперь — не дай бог!.. За тебя же отвечай…

— А ежели поповича веревкой привязать к передку? — шутил кто-нибудь из молодых ямщиков. — Много ли в нем весу: с пуд не будет.

Старые ямщики останавливали это балагурство и советовали мне подождать пустой подводы.

— Ужо из города подвезут хлеба, ну, обратно пустые поедут, — вот это тебе в самый раз. Лежи себе в телеге, как колобок…

Мне нравилось, что ямщики говорили со мной, как с большим, и я старался говорить, как говорят большие.

— Ничего, подъедут с хлебом, — успокаивал Терентий Никитич, когда я ему давал отчет о своих поисках.

Прошло три дня. Терентий Никитич еще с вечера предупредил меня, что завтра утром уезжает домой. Я отнесся к этому известию довольно равнодушно; но утром, когда Паньша принялся закладывать лошадей, мое настроение сразу изменилось. Мне сделалось ясно, что уезжает последний знакомый человек и что теперь я остаюсь уже окончательно один. Я не мог отойти от лошадей, казавшихся мне почти родными, смотрел на Паньшу влюбленными глазами и завидовал каждому колесу, потому что оно покатится в милый, родной Висим. Меня

вдруг охватила смертная тоска, какой я до сих пор еще не испытывал. Боже мой, с какой радостью я опять вернулся бы к себе домой!.. В горле стояли слезы, и я молча наблюдал, как Терентий Никитич собирался домой. Да, он увидит и своего Алешу, и моего друга Костю, и мою мать, которая будет спрашивать обо мне, и родные зеленые горы.

— Ну, кажется, пора? — повторял Терентий Никитич, присаживаясь перед отъездом, по русскому обычаю, отдохнуть. — Жаль, что ты пока не нашел попутчиков… Ну, ничего, найдутся.

Я уже не мог ничего говорить, а только кусал губы в молчаливом отчаянии.

Когда Терентий Никитич простился и сел в экипаж, меня охватило такое отчаяние, описать которое нет слов. Вероятно, человек, которого оставляют на необитаемом острове или хоронят заживо, испытывает нечто подобное. До сих пор я не плакал, а тут разрыдался неудержимо, до истерики, так что плохо помню, как Терентий Никитич выехал.

Жизнь каждого человека идет не ровным током, а чередующимися между собой повышениями и понижениями, в результате чего получается кривая, вроде тех, какие выходят на сфигмографе, записывающем биение нашего сердца. Да, идет день за днем, проходят недели, месяцы и годы почти незаметно, и вдруг это мирное течение нарушается каким-нибудь событием, которое имеет решающее значение на всю последующую жизнь, как было и в данном случае. И солнце так же светит, и кругом люди так же предаются своей обычной суете, и нигде нет никаких заметных перемен, а для вас мир уже совсем другой, и люди кажутся другими, и сами вы уже не тот, каким были еще вчера…

До сих пор у меня сохраняется чувство глубокого сожаления к тем детям, особенно к новичкам, которых каждую осень везут из родной глуши куда-нибудь в город. Я страдаю за них, снова переживая то, что было когда-то пережито. Напрасно говорят, что дети чувствуют одностороннее больших, потому что их собственный жизненный опыт еще только начинается и в силу этого душевный кругозор невелик, — у каждого чувства своя собственная география, которая и велика и мала, смотря по обстоятельствам. Я и сейчас не могу без волнения вспомнить, как тогда Терентий Никитич уезжал домой, и никакие наслоения дальнейшего жизненного опыта не в силах заслонить этот роковой момент, точно он увозил с собой мое действительно счастливое, золотое детство…

Как милая старушка ухаживала за мной, как утешала и со святым терпением выслушивала бурно вырвавшееся детское горе! Я ей рассказывал об отце, о матери, братьях и маленькой

сестренке, которых всех так любил. Мне припоминались те случаи из детской жизни, когда я огорчал отца или мать, и мне казалось, что я неисправимый злодей. Да, улететь на крыльях в Висим, всего на несколько минут, чтобы сказать все, все…

— Только до рождества подождать, а потом на святки домой, — уговаривала меня старушка.

Меня успокаивали не самые слова, а тот тон, которым они говорились: так знахарки заговаривают и унимают кровь…

IV

Пока я искал обратных ямщиков, погода испортилась. Началось тяжелое осеннее ненастье. По базарной тагильской площади едва можно было пройти, — везде стояла грязь по колено. На постоялых дворах было еще хуже, — там и в хорошую погоду всегда было грязно, а сейчас в этой грязи чуть не тонули лошади. Я и сейчас не могу без ужаса вспомнить об этих постоялых дворах, представлявших собой сплошную помойную яму. Во дворе — непролазная грязь, а в избе, где набивалось на ночь ямщиков двадцать человек, буквально нечем было дышать. Да кроме того, благодаря русской печи, в которой варилось, жарилось и пеклось иногда для целого обоза, стоял настоящий банный пар, от которого непривычному человеку можно было задохнуться. Но богатырская натура ямщика все переносила и еще лезла на печь.

Шатанье по этим постоялым дворам на меня производило самое угнетающее впечатление. Да и ненастье не радовало, потому что впереди предстояло ехать в совершенно открытом экипаже, то есть в простой обозной телеге.

После томительных поисков в течение пяти дней я, наконец, натолкнулся на обратных ямщиков. Как-то иду по базару, где стояли возы с огурцами, и вижу, что около одного воза собралась кучка любопытных. Подхожу и делаюсь свидетелем следующей сцены. Какой-то бойкий торгаш покупает два неполных воза огурцов, причем продавцы никак не могут с ним сговориться.

— Ты купи сперва у меня воз али сперва у брата, — повторял бородатый мужик-огуречник. — Ну, а потом торгуй другой воз…

— А ежели я хочу купить оба воза зараз? — настаивал на своем торгаш. — Вам же лучше…

Мужики-огуречники долго мялись, почесывая в затылках. Собравшаяся у возов публика приняла живое участие в их затруднительном положении.

— Да вы, олухи, продавайте, а потом деньги пополам и

разделите. Братьям легче делиться…

— Огурцы-то у нас разные, — объяснили братья. — Трудно делиться будет.

Торгаш, наконец, как-то уломал, и дело было кончено. Я воспользовался моментом и узнал, что огуречники едут в Екатеринбург порожняком. Старший брат согласился меня довезти и назначил цену два рубля. Я попробовал что-нибудь выторговать, но это оказалось напрасным.

— Вон какая непогодь стоит, — объяснял ямщик, — а ехать надо полтораста верст.

Отъезд из Тагила прошел для меня в каком-то тумане. Острое горе разлуки сменилось тупым настроением. Прощаясь с милою старушкой, которая так ухаживала за мной все эти дни, я уже не плакал. Мои огуречники приехали за мной рано утром. Шел мелкий осенний дождь «сеногной». Оба брата поместились в передней телеге, предоставив в мое полное распоряжение заднюю, где из соломы и сена было устроено мне лежанье. Мой мешок служил мне подушкой. Когда я поместился в телеге, старший брат, огуречник Николай, прикрыл меня сверху рогожей.

— Вот тебе и пуховое одеяло, — шутил он. — Все-таки не каждая капля мимо.

Русский человек не может обойтись без шутки, как бы плохо ни было дело.

Милая старушка перекрестила меня на прощание и дала несколько советов огуречникам, как нужно следить за мной, чтобы я не промок дорогой и чтобы меня не обворовали где-нибудь на постоялом дворе.

— Уж будьте спокойны, — уверяли огуречники, — предоставим в лучшем виде.

Наши телеги тронулись. Старушка стояла у ворот и крестила меня издали. Милая старушка, вероятно, давно умерла, но я и сейчас вспоминаю ее с глубокою благодарностью, как человека, который так просто, хорошо и тепло отнесся к первому детскому горю.

Когда наши телеги тронулись, я вспомнил, что не успел сбегать на главную заводскую площадь, где стоял памятник, и проститься с родными горами и родною дорогой в Висим. Почему-то мне казалось, что именно эта площадь являлась лично для меня роковою гранью, отделявшею родное от чужого. За этой площадью оставалось все дорогое, родное, а впереди начиналась та чужая, дальняя сторонушка, о которой так много говорится в русской народной песне.

Уже при выезде из Тагила я имел удовольствие почувствовать все прелести путешествия в телеге по испорченной ненастьем

грунтовой дороге. Сначала мне показалось очень удобным лежать в телеге; но когда она начала нырять по заторам и рытвинам, делать жестокие толчки о камни, я переменил свое мнение. Нужно сказать, что сибирская ямщичья телега в своем роде — идеальное сооружение, начиная с того, что, за исключением железной оковки колес и железного курка, она вся деревянная до последнего гвоздя. Затем, она вся слажена неизвестным механиком необыкновенно остроумно, до того включительно, что ее можно починить и поправить где угодно. В ней рассчитан каждый гвоздь, каждый вершок, каждый оборот колеса, и только на ней можно было ломать путины по сибирским трактам тысячами верст. Она необыкновенно легка на ходу, потому что переднее и заднее колеса почти сходятся; затем легка на повороте, потому что передние колеса, несмотря на свою величину, свободно подвертываются под кузов, и, наконец, кузов поставлен так, что возовая тяжесть распределяется наивыгоднейшим образом для лошади. Воз не мотается на ходу, легко добывается из зажор, и в такой телеге везде можно проехать. Российская телега ничего общего с сибирской не имеет, — длинна, высока, неповоротлива и вообще тяжела.

Мое «пуховое одеяло» быстро промокло, и сквозь него начала сочиться холодная дождевая вода. Это было пренеприятное чувство, когда она пробиралась холодной струйкой куда-нибудь за воротник или в рукава. Приходилось устраивать дождевой сток, пользуясь сгибами рогожки; но эти невинные хитрости помогали мало. А наши две телеги тянулись по разъезженному и избитому тракту с убийственной медленностью, — вероятно, не больше трех верст в час. До первой станции, «Грань», было двадцать пять верст, и я высчитал, что мы приедем туда уже после ямщичьего обеда, то есть далеко за 12 часов дня. А там лошади должны отдохнуть, потом их будут кормить, и дальше мы двинемся только к вечеру. Впереди предстояло провести всю ночь под дождем. Вообще картины рисовались совсем не радужные. А мои огуречники сидели себе на первой телеге и с ожесточением производили расчеты за проданные огурцы. Николай лежал, а его брат стоял на коленях и все время по пальцам доказывал какую-то арифметическую выкладку.

— Нет, ты погоди!! — кричал младший брат, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие.

Я слышал только одно слово «огурцы», которое повторялось на все лады, и завидовал, что не могу послушать интересного разговора.

На наших горных заводах огурцы на грядах не поспевали благодаря весенним заморозкам, и этот овощ является для нас

осенним гостем, когда его привозили из соседних, более теплых уездов, что случалось только поздней осенью. Привозный огурец был обыкновенно перезрелый, желтый и мятый, с пустотой внутри. У нас дома огурцы выводились в тепличке и в парниках и являлись летом своего рода лакомством. Мои огуречники оказались перекупщиками. Они покупали огурцы в Екатеринбурге, везли их продавать на заводы, причем являлся немалый расчет получить обратную кладь. В данном случае последний расчет не оправдался, и мои огуречники имели обиженный вид промотавшихся людей.

Во всяком положении есть какое-нибудь утешение. Лежа под своею рогожкой, я сделал маленькое окошечко и смотрел на попадавшихся пешеходов, мокрых и по колено в грязи. Ведь им было еще хуже, чем мне. Потом немалым утешением являлись для меня «подорожники», которые мама запрятала в особый узелок. Особенно хороши были пирожки с кишмишом. Я ехал и вспоминал любящие руки, которые позаботились обо мне.

V

На станции «Грань», состоящей всего из нескольких домов, мы простояли почти до самого вечера. Лошади отдохнули и наелись, а мои огуречники продолжали медлить, потому что никак не могли подвести счетов за проданные огурцы. Дело было близко к ссоре, и я качал опасаться, что они возьмут и бросят меня вот здесь на станции. Последняя мысль явилась на том основании, что и я каким-то образом входил в этот же роковой огурцовый счет, и старший брат, Николай, который, собственно, взялся везти меня, уже несколько раз повторял:

— А мне он что, кутейник? Да наплевать, вот и все…

— А два цалковых ты все-таки получишь? И огурцы у тебя были мельче…

— А у тебя трех десятков не хватало до пятисот…

— Да ведь купец не считал мои огурцы, а купил на глаз.

— Мне это все единственно…

А дождь все продолжал идти, мелкий, назойливый, неумолимый, точно все небо превратилось в одно громадное сито, сквозь которое сеялось ненастье. С «Грани» мы выехали только под вечер. Я переменил свою подстилку на сухую, а мокрая рогожка так и осталась мокрой, да и своего верхнего пальто я не мог просушить. Мои огуречники поступили по-спартански — бросили мокрые рогожи, которыми прикрывались, и отдали себя на жертву стихии. Они опять ехали на передней

телеге и опять спорили до хрипоты, проклиная проклятого тагильского торгаша, который подвел обоих.

Темнота быстро сгущалась, и мне начало казаться, что и дорога здесь хуже, и лес выше, и опасность увеличивается с каждым шагом вперед, особенно когда лошадь, чтобы вывороти засевшую в грязи телегу, сама делала крутой поворот вбок и, как говорят ямщики, «выхватывала» телегу. На счастье, мало попадалось встречных, а то разъезд в темноте каждый раз представлял собой опасность полететь вместе с телегой куда-нибудь в канаву. А тут еще дождь… Время, казалось, остановилось. Меня опять охватило отчаяние. Мне некого было стыдиться, и я горько рыдал, уткнувшись головой в мешок. Опять перед моими глазами проносились картины счастливого детства, вся обстановка родного гнезда, дорогие лица, и я опять повторял свое детское прошлое шаг за шагом, точно заучивал урок. С другой стороны, мне рисовалось грозное будущее, материалом для которого служили рассказы брата и мой личный трехдневный опыт. Да, там впереди ждала бурса, неистовая, мрачная, дикая, о которой я наслышался с раннего детства. Я был уверен, что никогда больше не вернусь в Висим и что пришел мой конец, а моя телега катится в какую-то мрачную бездну, где нет ни солнечного света, ни голубого неба…

Это была вообще ужасная ночь, бесконечная, темная, холодная ночь. Наши телеги ползли по сплошной грязи, как две черепахи, и только мои огуречники не унимались и спорили всю ночь. Я жадно прислушивался к долетавшим до меня обрывкам фраз и точно хватался за них, чтобы не потерять окончательно чувства действительности. Мне начинало казаться, что вопрос об огурцах действительно сейчас самый важный и от его решения зависит все. Даже наши лошади, по моему мнению, чутко прислушивались к хозяйскому спору и в такт ему иногда очень выразительно фыркали.

Следующею станцией был Невьянский завод, старейший из уральских заводов, и я плохо помню, как мы, наконец, добрались до него. Меня охватила, понятно, мертвая дремота, и я, как сквозь сон, слышал мерные и гулкие удары церковного колокола. Это был праздник успенья, и звонили к заутрени. Кое-где в избах светились огоньки и топились печи. Потом наши телеги точно были проглочены деревянными воротами постоялого двора, запруженного обозными телегами, лошадьми и отчаянно галдевшей ямщиною. На мне, как говорится, не было сухой нитки, и я едва мог вылезти из телеги: больно было пошевелиться. Изба, конечно, была битком набита народом. Ямщики тоже были мокрые, и на них рубахи дымились от пара.

Меня больше всего беспокоила мысль о моем мешке, который мог исчезнуть в этой суматохе совершенно незаметно. Меня выручила артельная стряпуха.

— Полезай на печь, там и высохнешь, — научила она, помогая мне втащить мешок на печь. — Ну, и ненастье ударило. Все мокрёшеньки, точно из болота вылезли…

Печь была натоплена жарко, меня сразу охватило благодетельное тепло, и я сейчас же заснул мертвым сном, а проснулся только к раннему ямщичьему обеду, то есть в восемь часов утра, вернее сказать, меня едва разбудила та же стряпуха.

— Вставай, милый, мужики уж за стол садятся. А то тебе ничего не достанется.

Когда я поместился к артельному столу, кто-то из ямщиков иронически заметил:

— Ну, это настоящий едок, значит… В артели-то, пожалуй, таких и невыгодно кормить.

Все смеялись, но мне было не до смеха. Кто-то из стариков оговорил зубоскалов, и водворилось молчание. Ели все медленно, солидно, как едят только в артели. Ямщичий аппетит славится своими колоссальными размерами, и больше ямщиков обозных едят только пильщики. На постоялых дворах везде кормят ямщину на убой, и на стол подается иногда до десяти перемен: тут и щи, и похлебка, и пироги, и каша, и рыба, и жареное мясо. В середине такого богатырского обеда кругом стола начинает ходить громадный деревянный жбан с квасом, в котором по очереди исчезают ямщичьи головы. Я делал то же, что и другие; но кислый мужицкий квас мне не понравился, да и деревянный жбан был такой величины, что я едва его мог держать в руках.

— А ты, миляга, побольше пей кваску, — советовал кто-то из едоков. — Штобы дух заперло.

При отъезде из Невьянского завода я был огорчен неприятным для меня известием, именно, что мои огуречники свернут как раз на половине дороги в свое Аяцкое село, до которого от верхотурского тракта было верст шесть. Причин для такой остановки, было достаточно: «пересобачились кони» от скверной дороги, «хлябало» заднее колесо у передней телеги, а главное, как мне кажется, мои огуречники хотели закончить свои расчеты в семье. Я боялся опоздать в училище, но делать нечего, приходилось соглашаться. Отдохнув в Невьянском заводе, я уже чувствовал себя бодрее.

До села Аяцкого было верст тридцать, и мы ползли чуть не целый день.

Эта остановка заняла четыре дня и не показалась мне скучной. Дом у моих огуречников оказался хороший, и все

хозяйство было поставлено по-настоящему. Уж хорошо было одно то, что мы могли отдохнуть, как следует, а главное — обсушиться. Приехав домой, мои огуречники оказались самыми добродушными и очень гостеприимными людьми. Как потом выяснилось, они были из духовного звания, дети какого-то дьячка, а потом «переписались в мужики». На мой вопрос, как это случилось, старший, Николай, с улыбкой объяснил:

— А я табак любил курить, ну, меня и выгнали из училища, а дома отец выгнал. Ничего, и в мужиках люди живут. Не чужой хлеб едим…

Мне этот ответ очень понравился, и я даже подумал, что мужику лучше жить, чем нашему дьячку Николаю Матвеичу. В самом деле, отчего не сделаться мужиком? Чем больше я раздумывался на эту тему, тем легче мне делалось. Что бы ни было впереди, а мужиком всегда можно сделаться… Я с особенным вниманием осматривал все хозяйство моих мужиков, и мне решительно все нравилось. Изба совсем хорошая, потом всякие хозяйственные пристройки, большой огород, в огороде — своя баня, лошади, коровы, овцы, чего же еще может желать человек? Решительно, хорошо быть мужиком!..

В Аяцком на меня произвело тяжелое и неприятное впечатление только одно, именно — «детский мор». Все село было охвачено эпидемией дизентерии, и я в окна своей избы каждое утро видел, как мужики и бабы тащили под мышкой или на полотенцах маленькие детские гробики. Меня удивляло, что никто не плакал и не убивался, а все относились к своим покойникам с каким-то тупым равнодушием.

— Ангелочки все будут, — объяснила мне жена старшего брата, Николая. — У большого-то человека сколько грехов накопится, а это всё ребячьи безгрешные душеньки…

VI

От села Аяцкого до Екатеринбурга оставалось семьдесят пять верст, и мы сделали их в двое суток без особенных приключений. Ненастье кончилось, и когда мы въезжали в город, светило яркое солнце. От Висима до города было около двухсот верст, и мне пришлось ехать чуть не две недели. Как говорится, хорошо то, что хорошо кончается, а я приехал здоровым и бодрым, чтобы начать новую жизнь.

Николай довез меня до моей будущей квартиры и, вытаскивая из телеги мой мешок, говорил:

— А вот выучишься, человеком будешь… да.

Не могу не сказать здесь, что в моих детских воспоминаниях совсем нет злых и неприятных людей, и я всякий раз с особенным удовольствием уношусь мыслью в далекое прошлое.

С момента, когда Николай водворил мой мешок в квартире, начался мой школьный период, и я окончательно сделался «отрезанным ломтем».

ДЕДУШКА СЕМЕН СТЕПАНЫЧ

I

Как оказалось, я приехал раньше, чем следовало. До «открытия классов» оставалось еще несколько дней, в пустой ученической квартире мне было решительно нечего делать, и я решил съездить к своему деду Семену Степанычу, который служил дьяконом в селе Горный Щит, до которого от Екатеринбурга было всего шестнадцать верст. Эта поездка к деду явилась для меня громадным утешением, потому что в большом городе я чувствовал свое полное одиночество с особенной яркостью, как случайно забежавший из леса в селение заяц.

Нужно было найти «обратную подводу», в чем я уже напрактиковался, и отправился прямо на хлебный рынок, где останавливались горнощитские мужики. На мое несчастье, как раз такого «обратного» горнощитского мужика не оказалось: нашелся выпивший мужичок из села Макаровского, который за тридцать копеек согласился сделать крюк верст в шесть.

— Доедем как-нибудь… — повторял он заплетавшимся немного языком.

Торг происходил довольно упорный, причем, сторговавшись за тридцать копеек, я нашел эту сделку настолько выгодной, что решился допустить некоторую роскошь и отправился с своим возницей в обжорный ряд. Никакой русский город, как известно, без обжорного ряда существовать не может, а в Екатеринбурге он особенно бойко торговал, потому что в бойкий город съезжалось много крестьян из соседних деревень, да к этому еще нужно прибавить обозную ямщину. От хлебного рынка до обжорного ряда было рукой подать — перейти одну небольшую улицу. Он помещался под громадным деревянным навесом, из-под которого еще издали можно было расслышать отчаянные вопли торговок, зазывавших покупателей на все лады, а главное, неистово ругавшихся между собой. Под навесом расставлены были длинные деревянные столы, не отличавшиеся особенной чистотой. Прямо на этих столах совершалось и приготовление кушанья, и его продажа, и потребление. Тут же торговали ржаным хлебом, сайками и калачами, квасом и сбитнем. Но главная торговля шла около «горячего». В особых котелках и железных печках, подогреваемых жаровнями, варили решительно все, что только может представить себе самое смелое воображение. Тут были и щи, и похлебка из осердья (осердье — легкое с сердцем), и вареная печенка, и студень, и разваренные бычачьи головы, и пирожки, и пельмени. В средине шестидесятых годов, к которым

относятся мои воспоминания, в Екатеринбурге все было очень дешево, особенно мясо, благодаря степному скоту, который пригонялся сюда из Оренбургской губернии. На две копейки неприхотливому человеку можно было наесться досыта — на копейку чашка щей, а на другую копейку фунт хлеба. Так и сделал мой возница, а я поддался соблазну и допустил роскошь. Именно, на одну копейку купил два пирожка с мясом, которые назывались «сподобами» и, кажется, нигде больше не приготовляются, как только в екатеринбургском обжорном ряду, — это почти в ладонь величины дутые пирожки с начинкой из мяса, в которые вливается мерка бульона. Вещь очень вкусная, хотя начинки полагалось и недостаточно. На вторую копейку я съел десяток пельменей, и, как сейчас помню, они были удивительно вкусны. Все столы были заняты, и торговки кричали с таким азартом, что мне сделалось страшно за человека. Конкуренция совершалась у всех на глазах, и я только удивлялся, откуда берутся такие голоса и азарт. Впоследствии мне иногда приходилось бывать в этом обжорном ряду, когда по праздникам мы, школьники, хотели полакомиться «сподобами», и у меня об этом обжорном ряде осталось теплое детское воспоминание, как об обедах с бурлаками на барках и башкирских кушаньях. Конечно, по части чистоты можно пожелать многого, но, как говорят матросские артельные повара, — «за вкус не ручаюсь, а горячо сварю».

Допустив роскошь, я сейчас же раскаялся в своей слабохарактерности. Ведь деньги так и плыли: там пятачок, тут гривенник, — моя касса подвергалась медленному разгрому. Мне было дано шестнадцать рублей, и этих денег должно было хватить до самого рождества, а я проедался по обжорным рядам… Мне припомнилась история двух дьячков, которую рассказывал отец, и оказалось, что я поступил, как неразумный дьячок. Цену деньгам я знал отлично с раннего детства и понимал, что отец отдает последние гроши на наше воспитание с братом, а там дома еще два маленьких рта.

Мой возница сходил еще раз в кабак, стоявший на хлебной площади у Сплавного моста, и окончательно захмелел.

— Доедем как-нибудь… — повторял он, икая.

Я всячески торопил его и ужасно был рад, когда мы, наконец, тронулись в путь.

Екатеринбург в средине шестидесятых годов еще сохранял следы военного города, потому что он служил центром уральской промышленности, а она находилась на военном положении. Правильные улицы, почти везде тротуары и тумбы, — последние меня очень занимали, потому что у нас в Висиме не было ни

одной тумбы. Военная щеголеватость и чистота простирались далеко за черту города, окаймленного широкой полосой соснового бора, который хранили как зеницу ока. В этом сосновом лесу царила поразительная чистота, точно все было подметено. Происходило это оттого, что деревьев не позволялось рубить и городская беднота подбирала весь валежник, хворост и обломанные сучья.

Дорога из Екатеринбурга в Горный Щит шла именно через этот лес. Впечатление портили только салотопенные заимки, заражавшие воздух ужасным зловонием на целую версту. На границе леса стоял лесной кордон, на котором жили лесные сторожа, ловившие лесоворов. Как доказательство их неусыпной бдительности, на кордоне гнили десятки захваченных у лесоворов бревен. Я проезжал мимо этого кордона десятки раз и никогда не мог понять, для чего отнимали эти бревна, если они, как оказывалось, никому не нужны были.

Мы только что миновали кордон, как чуть не разыгралась настоящая драма. Как раз в лесу была повертка в Макаровку, и мой возница хотел ехать по ней.

— Ведь ты должен везти меня в Горный Щит? — проговорил я, выхватывая вожжи.

— Вылезай… все равно… — бормотал захмелевший окончательно возница, стараясь вырвать у меня вожжи. — А я домой…

Положение получалось критическое. Дело в том, что я мог бы дойти до Горного Щита и пешком, но со мной был мой дорожный мешок. Опасности создают героев, и я поступил с отчаянной смелостью. Мы сидели посреди телеги на деревянной доске, и я столкнул своего коварного возницу в задок телеги, а пока он барахтался, я ударил лошадь хлыстом, и повертка осталась назади. К моему удивлению, возница нисколько не рассердился, а поместился опять рядом со мной как ни в чем не бывало и, потряхивая головой, повторял:

— Ах, ты… дда-а… Ничего, как-нибудь доедем.

Впоследствии мне приходилось изъездить по Уралу тысячи верст, но это был единственный случай неосуществившегося насилия, хотя уральское население вообще особенной мягкостью характера не отличается.

Я до сих пор с особенным удовольствием вспоминаю эту дорогу в Горный Щит, особенно вторую ее половину, которая начинается от села с странным названием — Елисавет. Дорога идет по настоящему сибирскому чернозему, а кругом зеленеют бесконечные пашни. В хорошую погоду ничего не может быть лучше, как езда по такому проселку. Телега катится по мягкой,

убитой дорожке среди живых стен ржи, овса, ячменя и пшеницы. Вдали кое-где зелеными шапками выделяются лесные островки, еще дальше синеет линия далекого леса, по речкам и ручьям все запушено вербой и ольхой, — вообще хорошо, и как-то чувствуешь вот этот благодатный чернозем и какую-то особенную свободу, точно и небо здесь выше, чем в горах.

II

Горный Щит — довольно большое село, раскидавшее свои избушки по берегам мелкой речонки, в которой летом буквально было курам по колено. Летосчисление здесь, как и в других деревнях, где появляются соломенные крыши, велось по пожарам. По дороге из Висима до Горного Щита нигде не было ни одной избы с соломенной крышей, а здесь уж чувствовался недостаток в лесе, и приходилось доски заменять соломой. Издали еще виднелась высокая белая каменная колокольня. Церковь в Горном Щиту была новая, но построена по-старинному, в два этажа, — в нижнем помещалась теплая зимняя церковь, а в верхнем — холодная, летняя. Около церкви расстилалась зеленой полянкой большая площадь, а в дальнем ее конце стоял низенький деревянный домик, глядевший на мир божий своими маленькими оконцами с каким-то старческим добродушием. В отличие от наших заводских построек этот уютный домик был крыт не кровельным тесом, а сосновыми драницами. Это и был домик дедушки Семена Степаныча. К воротам вела узенькая тропка, потому что в течение года на колесах подъезжали к нему, может быть, всего раз десять. Калитка держалась на запоре, и нужно было постучать в окно кухни, тогда в нем появлялось немного встревоженное лицо моей прабабушки Феофилы Александровны, восьмидесятилетней старушки. Она недоверчиво оглядывала гостя, дергала веревочку, и калитка открывалась. Мне нравилось устройство двора, содержавшегося в величайшем порядке. Он делился на три части, — прямо от ворот шел, так сказать, проезжий двор, усыпанный и утрамбованный мелким песком; он упирался в целый ряд деревянных хозяйственных построек — амбары, погреб, сарай. Линия хозяйственных построек занимала весь задний план и кончалась небольшой баней. От ворот шел глухой забор, отделявший вторую часть двора, где была великолепная зеленая полянка, и дедушка косил здесь траву.

— Для чего вам, дедушка, сено, когда у вас нет ни коровы, ни лошади?

— А гости приедут?

Эта заботливость была особенно трогательна, потому что гости, то есть два зятя, приезжали года через два.

Налево за домом шло третье отделение двора, прикрытое деревянным навесом, где хранились дрова и разный хозяйственный скарб, боявшийся воды. В этом отделении висела у столба железная рукомойка (на Урале чаще говорят — рукомойка, а не рукомойник), и нам, малышам, доставляло большое удовольствие умываться здесь по утрам холодной ключевой водой.

Меня удивляло, что, когда ни приедешь к дедушке, все находится в том же виде, как и десять лет тому назад, точно самое время здесь остановилось, как в заколдованном царстве. Ни одной новой вещи, а все старые и знакомые неизменно стоят на своих местах, до ухватов бабушки у печки и горшков на полках включительно. То же самое во дворе, на погребе, в сарае и в бане. И сами хозяева всегда были дома, как их вещи, а прабабушка Феофила Александровна едва ли в течение года выходила за ворота хотя один раз. Удивительнейшей особенностью маленького дьяконского домика было то, что в нем не было часов, хотя дедушка имел полную возможность иметь и стенные и карманные часы.

— Для чего мне часы, Митус? — объяснял мне дедушка, — он всегда называл меня Митусом. — У меня самые верные часы: видишь две ели, которые растут в огороде отца Вениамина, — вот тебе и часы. Солнышко налево — значит, утро; солнышко над ними — значит, полдень; солнышко направо — значит, вечер. Это мои стенные часы. Их заводить не нужно, и починки не требуют…

— А в дождь как?

— В дождь… Ну, тут у меня карманные часы действуют, — объяснял старик, хлопая себя по желудку: — захотел есть — значит, двенадцать часов. Эти часы подороже будут стенных, потому что каждый день требуют и завода и починки…

Одним словом, день здесь еще не дробился на часы, потому и самое время здесь катилось с такой же медленностью, как вода в горнощитской речонке. Там, где-то за горами, долами и лесами, человечество изнывает в суете и вечной тревоге, рассчитывая каждый час и каждую минуту, а здесь, в этом маленьком домике, день прошел, — и слава богу!

И в этот раз, как всегда, дедушка и бабушка были дома, когда я довольно торжественно подъехал на своей телеге к воротам. Выглянуло сморщенное лицо Феофилы Александровны, а из-за ее спины раздался веселый голос дедушки:

— А, Митус!

Покачивавшийся на ногах мужик внес мой мешок в «горницы»

и получил стаканчик водки. Бабушка внимательно осматривала меня с ног до головы и почему-то качала головой. Это была полная старушка, ходившая по комнате с трудом и постоянно охавшая, что не мешало ей работать с утра до ночи и вести все хозяйство. В последние годы, по временам, бралась на побегушки какая-нибудь девчонка лет двенадцати, обязанности которой главным образом заключались в том, чтобы стрелой нестись в амбар или на погреб и приносить оттуда искомое. Но, привыкшая всю жизнь управляться одна, старушка страшно волновалась, и ей все казалось, что девчонка делает все не так. Я лично не особенно долюбливал Феофилу Александровну, потому что она постоянно ворчала, особенно на меня, благодаря неистощимым детским шалостям. К особенностям бабушки принадлежало еще то, что она каждую фразу начинала с междометия «ох!». «Ох, надо печку топить… Ох, надо воду носить!» и т. д. Старушка употребляла еще двойственную форму падежных окончаний, теперь окончательно вышедшую из употребления.

Дедушке Семену Степанычу было всего за пятьдесят лет. Это был небольшого роста очень крепкий мужчина, фигуру которого портил только как-то смешно округлившийся живот, и мне, когда я был маленьким, казалось, что у него под подрясником спрятан арбуз, вообще что-нибудь круглое. Красивое русское лицо Семена Степаныча, с небольшой русой бородкой и строгими серыми глазами, точно светлело от каждой улыбки. Он оставался неизменно спокойным, с какой-то строгой ласковостью в обращении, и каждое его слово имело вес.

— Ну, Митус, разве мы сегодня в баньку сходим? Хорошо с дороги распарить косточки…

Баня составляла в этом доме первое угощение, в котором дедушка любил принять участие и сам.

— Ох, он хочет есть, — спорила бабушка.

— Что же, сначала закусим, а потом и в баньку, — согласился дедушка.

У старушки была страсть всех кормить, и ей казалось, что все голодны. Обед полагался ранний, и мне пришлось довольствоваться холодными остатками, на которые я накинулся с волчьим аппетитом. Старушка принялась ставить самовар и все охала, поглядывая на меня, а дедушка похаживал по комнате и курил деревянную крестьянскую трубку. Эта последняя составляла предмет нашего жгучего детского любопытства, потому что дедушка не любил раскуривать ее спичкой, а высекал огонь из кремня на кусочек трута. Операция добывания огня этим старинным способом составляла мое любимое удовольствие, хотя стальной плашкой от излишнего усердия я и попадал часто

вместо кремня по собственным пальцам. Дым от затлевшегося трута казался мне лучшим из всех ароматов, и я умолял дедушку, чтобы он позволял мне добыть ему огня, когда он, по его выражению, хотел после обеда «позолотить хлеб-соль». Бабушка добывала огонь лучинкой из печки, где загнета сохраняла жар целый день. Были серные спички, которые лежали в печурке, но к ним старушка прибегала только в самых крайних случаях, потому что не умела обращаться с новомодными спичками. Она брала такую спичку за самый конец, вероятно, чтобы не обжечь пальцев, долго и неумело чиркала ею по коробке и часто кончала тем, что только ломала спичку, не добившись огня.

В этом доме все делалось оригинально, до чаепития включительно. Самовар ставился на стол на особый поднос, чайник ставился на конфорку, и только наливали по одной чашке, как самовар сейчас же доливался, и приходилось ждать, когда он опять вскипит. Сколько выпивали чашек, столько раз ставили и самовар. Процедура довольно мучительная, особенно когда хотелось пить.

— Ох, растопится самовар, — охала старушка. — Какие нынешние самовары делают, только званье, что самовар.

У нас дома дело было совсем иначе, и я напрасно старался доказать бабушке, что самовар никогда не растопится, если его прикрыть крышкой.

— Ох, ничего ты не понимаешь, Митенька!..

Самовар считался новым и на этом основании находился в постоянном подозрении, но ему, вероятно, по меньшей мере было лет тридцать, судя по яйцевидной форме и ручкам.

III

Внутри домик дедушки состоял всего из двух комнат: кухни и собственно горницы. Кухня на одну треть была занята русской печью. Она служила и передней, и столовой, и приемной для не особенно важных гостей. Мне больше всего нравились полати, устроенные по-деревенски, где я любил спать. Обоев тогда не полагалось, и стены прямо по штукатурке окрашивали охрой или медным купоросом. Кухня содержалась в величайшей чистоте, и я не помню, чтобы в ней где-нибудь стояло неизбежное поганое ведро, лохань или что-нибудь подобное, что придает кухням такой непривлекательный вид. Собственно горница была втрое больше кухни и разделена зеленой ширмой на две половины, за ширмой была спальня дедушки и его гардеробная. Обстановка была самая скромная: простая деревянная мебель и маленький

письменный столик в виде залавка, который заменял дедушке бюро, письменный стол и несгораемый шкаф. На столе лежали разные церковные деловые книги. Дедушка писал гусиными перьями и засыпал написанное мелким песочком. Полы были крашеные, и по ним шли домотканые дорожки из разноцветного тряпья. Ламп, как и у нас в Висиме, не полагалось, а по вечерам сидели с сальными свечами, что не составляло особенного неудобства, потому что долго «сумерничали» и ложились спать рано.

Главная особенность дедушкина домика от нашего висимского заключалась в том, что в нем не было книг… Были книги богослужебные, разрозненные тома какого-то духовного журнала — и только. О газете не было и помину. Меня это страшно удивляло, и когда я приставал к дедушке с расспросами на эту тему, он с улыбкой отвечал:

— А для чего мне книги?

— Да ведь скучно без книги? А из газет вы бы знали все, что делается на свете…

— Ну, у нас отец Вениамин читает и все расскажет, что случится. Он все у нас знает…

— Ох, все знает, — подтверждала бабушка, почему-то считавшая о. Вениамина самым хитрым человеком на свете. — Ох, он такой уж… Ну, да бог с ним.

Впоследствии я разыскал в кладовой какие-то необыкновенные синие рукописи, переплетенные в тома. Это были семинарские сочинения дедушки, писанные на латинском языке. Он учился в ту пору, когда в семинариях царил этот язык и семинаристы свободно не только писали, но и вели диспуты по-латыни. Мне делалось как-то невыразимо грустно, когда я вспоминал наш висимский книжный шкаф и своих любимых авторов, и я не мог понять, как дедушку не интересует чтение. Мне казалось, что я очутился в каком-то другом царстве, среди неизвестных людей, которые меня не понимают и которых я в свою очередь не понимаю. Припомнился мне и мой друг Костя, с которым мы читали запоем, — ведь Костя нигде не учился, а дедушка дошел в семинарии до философии, — значит, учился всему. В мою душу закрадывалось сомнение в пользе школьного образования.

Баню дедушка всегда топил сам, и все материалы для этого у него заготовлялись заранее и хранились в величайшем порядке — особо наколотые дрова и растопки. Баня была маленькая и летом заменяла спальню. Чистота в ней соблюдалась идеальная. На этот раз угощение банькой для меня кончилось довольно печально, — дедушка закрыл трубу раньше времени, и я угорел до обморока.

Дедушка вытащил меня в предбанник и едва отлил холодной водой.

— А еще заводский человек, — шутил он, — живете в дыму, а тут угару испугался.

Любимой темой для разговоров со мной у дедушки были поддразнивания заводским дымом. Я отчаянно защищал свой Висим, как самое лучшее место в свете, а дедушка улыбался и повторял:

— Копоть, дым у вас… А у нас — одна благодать. Поля, луга, лес… Воздух чистый. У вас ни одного жаворонка нет…

— А у вас нет гор, настоящих лесов, — спорил я.

— У вас и лес дрянной: ель да осина. А у нас бор… Идешь, как по ковру. Вот я осенью сколько сухих груздей и рыжиков наберу.

— А вы приезжайте в Висим и посмотрите. Сами увидите, что у нас лучше.

— И то собираюсь… Ужо как-нибудь приеду погостить.

Дедушка собирался лет двадцать и не мог собраться. В этом сказалась чисто русская черта — откладывать день за днем, оправдываясь перед самим собой разными предлогами.

Когда после обеда мы сидели за самоваром, разговор шел именно на тему о преимуществах Горного Щита, причем дедушка огорчил меня до глубины души, когда категорически заявил, что у нас на заводах живут одни разбойники.

— Ох, уж и наши горнощитские мужики хороши, — вступилась бабушка, — такие плуты, такие плуты, что и не выговоришь… Ни одному-то человеку поверить нельзя. Прежде еще бывали и хорошие люди, а нынче… ох, какой отчаянный народ пошел. Все пьяницы, все воры…

Бабушка Феофила Александровна страдала всю жизнь мыслью о погибели мира. К своим современникам относилась она с крайней подозрительностью, начиная с хитрого попа Вениамина и кончая собственным самоваром. Старушке казалось, что сейчас за стенами ее домика начинается бурное море коварства, лжи, обмана и самых губительных страстей. До известной степени она, вероятно, была и права, потому что за восемьдесят лет своей жизни насмотрелась всего достаточно. Горный Щит в этом отношении являлся особенно больным местом, потому что в качестве подгородного села быстро усваивал плоды городской цивилизации. Мужики пили водку, бабы зорились на городские ситцы, кое-где появились уже самовары, некоторые мужики уходили на легкие городские заработки, бросая свои семьи, и т. д. Бабушка все это видела и душевно скорбела о несовершенствах мира вообще и специальных прегрешениях горнощитских

обывателей в особенности. Зло начиналось сейчас же, стоило только выйти за ворота дедушкина дома, и бабушка на этом основании смотрела на мир божий через кухонное окошечко с большой подозрительностью и даже страхом, как смотрит напуганный пассажир из своей каюты в корабельное оконце на разбушевавшийся океан. Мне казалось, что бабушка Феофила Александровна — это старая-старая книга, с пожелтевшими от времени листами, в старинном переплете, и что, несмотря на ее ворчание, она все-таки добрая, как все старые книги.

Причин бояться всего на свете у бабушки было достаточно, потому что вся ее жизнь прошла в сплошном труде и вечных заботах. Она рано овдовела и осталась с двумя детьми на руках, которых приходилось воспитывать на вдовьи слезы. Ее дочь вышла замуж за дедушку Семена Степаныча и умерла очень рано, оставив двух девочек — мою мать и тетю Александру Семеновну. Феофила Александровна переселилась к зятю, воспитала сирот и выдала замуж. Вообще это была вечная труженица и очень умная женщина. К числу ее особенностей принадлежало то, что она почти в течение шестидесяти лет не ела никогда мяса, — это, кажется, сибирский обычай, чтобы вдовы вели полумонашеский образ жизни. Конечно, в детстве я не понимал и не мог по достоинству оценить своей прабабки и частенько огорчал ее своими шалостями.

— Ох, уж ты, как только ты и жить будешь! — ворчала старушка, качая головой. — Ох, трудно жить на свете, Митенька… Не дай бог, как трудно!..

У детской любви своя география, и она мне напоминает расходящиеся концентрические круги от брошенного в воду камня. Чем дальше от центра, тем слабее волна, так и детская любовь, которая в редких случаях достигает прадеда или прабабки. А кто были прапрадед и прапрабабка, как они жили, что их радовало и печалило, — все это уже выходит из детского кругозора, и на этой роковой границе замирает детская любовь, как блуждающий огонек. Между прочим, в роду Феофилы Александровны был какой-то швед, вероятно, один из тех пленных шведов, которых царь Петр сослал на Урал для насаждения горного дела. Он прижился на Урале, женился и дал начало целой духовной фамилии Воинсвенских, — воин свенский — воин шведский. Я в детстве часто думал об этом таинственном предке-пленнике, для которого Урал сделался второй родиной, и мне делалось почему-то его жаль.

IV

Жизнь в дедушкином доме точно застыла, как стоит тихо-тихо вода где-нибудь в речном омуте. Один день походил на другой, как походят монеты одного чекана. Не было больше ни желаний, ни надежд, ни особенных забот, а только стремление сохранить настоящее, как оно есть. Даже не было мысли о наживе и деньгах вообще, в чем так любят обвинять наше духовенство. О деньгах как-то было не принято говорить ни в Висиме, ни в Горном Щиту. Еще в раннем детстве я задумывался над этим отсутствием всяких желаний и никак не мог понять причины. Для сравнения у меня перед глазами был покровский дедушка, Матвей Петрович, тоже дьякон, но человек крайне деятельный. Я его мало знал. Это был высокий, полный, седой, строгий старик с окладистой большой бородой. У него была большая семья, которую поднимать на ноги стоило громадных трудов. Одного дьяконского заработка, конечно, не хватало, и у дедушки была устроена в нижнем этаже его дома громадная столярная мастерская, дававшая возможность пополнять бюджет. Кроме столярного ремесла, Матвей Петрович занимался ювелирным делом. Вообще старик отличался деятельным характером и даже ходил на охоту. Так как дьякону запрещено это удовольствие, то старик брал с собой кого-нибудь из крестьян, давал ему ружье и так ходил в лес. И село Покровское не походило на Горный Щит, — это было настоящее бойкое сибирское село (Ирбитского уезда), вытянувшееся по тракту на целых семь верст. Зимой, когда открывалась ирбитская ярмарка, Покровское жило самой кипучей жизнью. День и ночь тянулись бесконечные обозы, летели тройки с купцами и т. д. В доме Матвея Петровича было всегда и людно и шумно, особенно когда собиралась вся семья. За стол садилось человек по двенадцати. Была жива и бабушка, но я ее совсем не помню, а помню только красивую и бойкую тетю Душу, красивую девушку, которая наполняла веселой суматохой весь дом. Особенно я любил, когда красавица Душа (уменьшительное от Авдотьи) что-нибудь пела своим светлым девичьим голосом. Дедушка Матвей Петрович был строг, и все его боялись, за исключением одной Души.

Только впоследствии я понял истинную причину разницы в жизни обоих дедушек. Дедушка Семен Степаныч овдовел рано, во второй раз жениться, как дьякон, не мог, и жена унесла из дома половину жизни, а вторую половину унесли дочери, когда вышли замуж. Семен Степаныч и Феофила Александровна просто доживали жизнь, не ожидая ничего в будущем, кроме «тихия и безболезненныя кончины».

В Горном Щиту я прогостил дня три и, между прочим, понял разницу, какая разделяет внуков: мой старший брат Николай, в

качестве внучка № 1-й, имел большие преимущества передо мной, как перед вторым сортом. Очевидно, на внучка-первенца было израсходовано больше внимания и любви, а я появился на свет уже так себе. Прямо этого не высказывалось, но это не мешало мне чувствовать существовавшую разницу, и я утешал себя тем, что у себя дома в Висиме между нами никакой разницы не существовало.

— Ну, Митус, пора тебе в город, — заявил дедушка еще с вечера, когда мы ужинали в кухне. — Пора, брат, за науку приниматься…

У меня сжалось сердце от этих слов, — я только что отдохнул от дорожных волнений и своего первого детского горя, а тут приходилось все начинать снова.

Сборы в дорогу у дедушки обыкновенно начинались с вечера, точно он по меньшей мере готовился совершить экспедицию куда-нибудь к Северному полюсу или в Центральную Африку. Особенно волновалась бабушка.

— Ох, не потеряй ты что-нибудь дорогой-то… — давала она последние советы. — А то в городе-то еще украдут как-нибудь. Ох, какой нынче народ везде… Да в лавку-то к Ивану Михеичу заезжай, а то другие торговцы как раз обманут и подсунут не знаю что.

В Екатеринбурге, как была убеждена старушка, единственным порядочным торговцем был Иван Михеич, старичок с пожелтевшей от старости бородкой, у которого дедушка неизменно закупал все в течение тридцати лет. Дедушка и сам не верил честности остальных торгашей, но бабушка считала необходимым напомнить ему об Иване Михеиче каждый раз, точно он ехал в город в первый раз и не умел отличать правой руки от левой.

Утром мы поднялись чем свет, почему-то пили чай торопливо, точно спешили на поезд. У ворот уже стояла крестьянская телега, а около нее с кнутиком похаживал мужик, возивший дедушку в город. Он тоже был единственным в своем роде, как Иван Михеич в городе. Укладывая свой багаж в телегу, дедушка пересчитал все вещи несколько раз и наставительно повторял мне:

— Митус, помни: семь мест…

— Ох, непременно к Ивану Михеичу ступай, — наказывала из окна в последний раз Феофила Александровна. — Ох, ни к чему ведь приступу нынче нет… Денег-то не напасешься на торгашей. Ох, кожу с живого человека готовы они снять… Прямо к Ивану Михеичу.

Такой же наказ был дан и кучеру, который в ответ передвигал

свой триповый картуз с одного уха на другое, — в Горном Щиту мужики носили триповые картузы, каких потом я нигде больше не встречал. Когда наша телега тронулась, Феофила Александровна долго крестила нас вслед.

Я сидел и молчал, подавленный новой разлукой. Вот за поворотом скрылся и дедушкин домик, и церковь осталась назади, и прогремел под колесами ветхий мостик через речонку, и точно убежали назад последние избенки с соломенными крышами, а впереди поля, поля и поля. Желтели убранные полосы, установленные снопами, чернели пары, начинали зеленеть озими.

— Благодать у нас, — любовался дедушка. — С хлебушком убрались, сена наставили, обсеяли озими, подняли пары, а как ударят заморозки, — начнется молотьба. А у вас в Висиме только и всего, что один дым…

Я больше не спорил, потому что чувствовал себя прескверно. У меня в ушах точно стучали слова бабушки: «Ох, трудно, Митенька, на свете жить»… Я это чувствовал, мое сердце сжималось все сильнее от грустного предчувствия грядущих бед.

Вот и поля кончились. Показался Елисавет. Дедушка показал на низенькое белое каменное здание, приютившееся у самой церкви, и проговорил:

— Вон воронье гнездо…

Он питал какую-то необъяснимую ненависть к монахиням, а в Елисавете они действительно вили себе гнездо. Это было отделение громадного Новодевичьего Тихвинского монастыря в Екатеринбурге. В Елисавете у них была своя заимка, где велось всякое сельское хозяйство. Впоследствии, проезжая осенью рано утром мимо этой монастырской заимки, когда шла молотьба, я вспоминал сравнение дедушки, хотя молотившие хлеб монахини скорее походили на галок, а не на ворон.

В городе мы приехали, конечно, к Ивану Михеичу, который встретил нас фразой, которой он, вероятно, встречал дедушку не меньше тридцати лет:

— Что-то давненько вы не бывали у нас, отец дьякон?

— А денег шальных не было…

Когда были сделаны необходимые закупки, дедушка повел меня в ряды, где жались одна к другой деревянные лавчонки и просто лари. Кажется, старик хотел мне что-то подарить и пробовал прицениться к разным вещицам; но когда торговец назначал цену, он махал рукой и говорил:

— Не по нам, Митус…

«По нам» оказалась только трехкопеечная сайка. Впрочем, я не огорчился этим «не по нам», потому что знал его раньше, а

потом оно значило то же, что у моего отца «прихоти».

Дедушка подвез меня к моей квартире, но сам в квартиру почему-то не пожелал войти. Вероятно, из привычки не соваться в чужие дела. Я долго стоял у ворот, провожая глазами телегу, увозившую последнего родного человека. А в окно квартиры уж выглядывали любопытные детские лица, и слышались голоса:

— Новичка привезли… новичка…

* * *

Много прошло лет… Нет на свете ни дедушки Семена Степаныча, ни бабушки Феофилы Александровны, не стало и их уютного домика, — он после их смерти был куплен о. Вениамином и сгорел в один из пожаров, неизменно посещающих Горный Щит. Не стало и сельской тишины, которой так любил похвастаться покойный дедушка, — под самым Горным Щитом были открыты золотые россыпи, и мирное когда-то село пережило все муки охватившей его золотой лихорадки. В довершение всего, по тем борам, где дедушка собирал свои рыжики и грузди, прошла железная дорога, унося с собой последние остатки тихого жития.

НОВИЧОК

I

Детский мир, как я уже сказал, расширяется концентрическими кругами, и самые сильные привязанности помещаются ближе к центру, каким является родное гнездо. Первой ступенью после него являются друзья детства, а следующей за ней — школьные товарищи.

Может быть, недостаток материала в детской душе по части впечатлений внешнего мира, может быть, особая чуткость и восприимчивость этого нежного возраста, — но эти привязанности сохраняются на всю жизнь с особенной яркостью, и понятна та радость, которую испытывают при встрече с друзьями детства и школьными товарищами. Ведь школа — вторая семья, в которой дети срастаются тысячью своих маленьких детских интересов, радостей, забот и огорчений.

С наступлением школьного возраста я много и часто думал о будущих школьных товарищах, причем у меня уже был и готовый материал для некоторых определенных представлений. Дома я

несколько раз прочитал очерки бурсы Помяловского и знал приблизительно, что меня ожидает в недалеком будущем. У нас в Висиме служил единоверческий священник, о. Николай, типичный старый бурсак, отлично рассказывавший о своем времени. Мой отец, по органическому отвращению к бурсе, никогда не вспоминал о ней. Изредка, — очевидно, в утешение мне, — он говорил:

— Конечно, теперь другое время, новые порядки, а все-таки…

В общем, у меня составилась довольно определенная картина моего школьного будущего, но она совершенно исчезала, когда я начинал думать о будущих товарищах, как об отдельных лицах. Конечно, это будут поповичи, дьяконские, дьячковские и пономарские дети, Петры, Иваны, Николаи, но какие они будут сами по себе? Ведь каждый молодец на свой образец; у каждого, наконец, — своя собственная физиономия, характер и привычки; кто эти незнакомцы, с которыми придется жить в одной комнате, сидеть долгие годы в одном классе, за одной партой? Тут и будущие друзья и будущие враги… Говоря откровенно, я сильно трусил, потому что, хотя рос и бойким мальчиком, но не отличался особенным здоровьем и физической силой. А бурса признавала только один закон — силу и больше ничего не хотела знать. Благодаря своей хилости я вперед знал, что не буду играть никакой особенной роли в кругу своих будущих товарищей, и в моих воспоминаниях об этом школьном периоде я являюсь самым невидным лицом.

Как я уже говорил, дедушка Семен Степаныч оставил меня у ворот моей квартиры, которая помещалась во втором этаже старого полукаменного дома с мезонином. Когда я тащил по двору свой мешок, из открытых окон меня провожали возгласы:

— Новичок приехал… Братцы, новичок!..

Ученическую квартиру держали две старые мещанские девицы, Татьяна Ивановна и Фаина Ивановна. Первая являлась главным ответственным лицом и распорядителем, а вторая заведовала кухней, которая была через двор. Собственно, наша квартира состояла всего из одной комнаты, выходившей на улицу тремя окнами и во двор — двумя; а другая, маленькая комната была только дополнением. В этих двух комнатах помещалось нас шестнадцать человек, причем, конечно, о кроватях и тому подобных удобствах нечего было и думать. Спали все вповалку на полу, так что негде было, как говорится, яблоку упасть.

Но я забегаю вперед.

Первый момент знакомства с товарищами по квартире как-то у меня выпал из памяти, — и много их было, и слишком пестрая толпа. Как говорится, из-за леса невозможно было разглядеть

отдельных деревьев. И пестро, и шумно, и незнакомо… Я присмотрелся к своей квартире только к вечеру, когда общая безличная масса распалась на свои естественные группы. Сначала все делились на старых и новичков, потом — по классам, наконец, — на деревенских и заводских. Новичков было почти половина и, за исключением меня, — всё малыши, поступавшие в низшее отделение. Они так и жались отдельной кучкой, как цыплята, когда их курица бросает для следующего выводка.

Дореформенное духовное уездное училище делилось на три двухгодичных курса — низшее, среднее и высшее отделения. Высшеотделенцы представляли собой своего рода школьную аристократию, и это чувствовалось с первого раза. На нашей квартире их оказалось человек шесть, и они в качестве привилегированных людей заняли маленькую комнату, чтобы не мешаться с ничтожеством из других отделений. Среди них оказались двое заводских, что с первого же раза и послужило для меня связующим звеном, тем более что оба оказались из Демидовских заводов. Они встретили меня самым дружелюбным образом.

— Наш брат мастерко, — говорил рябой мальчик, лет пятнадцати, с какими-то сорочьими глазами, со стоявшими дыбом волосами и болезненно улыбавшимися бескровными губами. — Калены носки, жжены пятки, без подошв сапоги…

Другой, совсем молодой человек, с пробивавшимися черными усиками, заметил, что знает и моего отца и дядю. Ему было лет восемнадцать, и, как я потом узнал, он в каждом отделении проучился по четыре года и теперь приехал в высшее отделение на вторые два года, что в общем составляло двенадцать лет. Первого звали Ермилычем, а второго — Александром Иванычем.

Из деревенских выделялся прежде всего красивый, пухлый мальчик с большими темными глазами, которого Александр Иваныч без церемонии называл «просвирней».

— Много летом-то просвир напекла, просвирня?

Обиженный белел от злости, но ограничивался одним ворчанием, причем как-то забавно отдувал свои пухлые щеки и отпячивал губы. По фамилии — Илья Введенский. Как оказалось, училищный инспектор уже назначил его, как лучшего ученика, старшим по квартире, что имело громадное значение в жизни нашей маленькой общины.

Из деревенских стоит еще упомянуть о небольшого роста худеньком мальчике с улыбавшимися постоянно темными глазками. Товарищи по классу называли его «Хвостом», на что он нимало не обижался, потому что это была переходившая из поколения в поколение кличка всех Павлов Иванычей: Павел

Иваныч Хвост, и только. Это был очень милый и крайне добродушный мальчик, который вскоре с квартиры попал в бурсу, потому что у него умер отец и пришлось поступить в так называемые казеннокоштные, как была перекрещена alma mater бурса.

Остается сказать несколько слов об обстановке нашей квартиры, или, вернее, об ее полном отсутствии. В большой комнате стояли небольшой деревянный стол, деревянная скамейка и несколько табуретов; в маленькой комнате — маленький стол, а скамейка заменялась ученическими сундучками.

Александр Иваныч сразу принял меня под свое покровительство и предложил сходить вместе на рынок, чтобы купить мне сундук.

— Мы купим наш тагильский сундук, а не невьянский, — объяснял он в качестве патриота. — Знаешь, такие зеленые, и чтобы замок был со звоном…

Он оказался очень практическим человеком и прочитал мне целую лекцию о достоинствах и недостатках сундуков и теорию нормального сундука. На рынке он оказался чуть не своим человеком и пальцами указывал мне лавки, где и что можно было купить и где бессовестно надувают доверчивых покупателей. Когда я указал в свою очередь на лавку, где всегда покупал дедушка Семен Степаныч, — Александр Иваныч пришел в негодование и заявил:

— Да этот старичонка — первый мошенник в городе. У него для веса и пряники с песком.

Я был серьезно огорчен за доверчивость дедушки, — единственный честный торговец в Екатеринбурге оказался мошенником.

II

Мы несколько дней еще не ходили в классы, и я успел познакомиться с жизнью нашей квартиры. Мы поднимались в семь часов утра и получали по ломтю белого хлеба. Чаю не полагалось, и исключение представлял один я. Из самовара хозяйки я заваривал свой чайничек и пил один, что было очень неудобно и очень меня стесняло, потому что все остальные съедали свою порцию всухомятку. Раздавала хлеб сама Татьяна Ивановна, очень добрая и ворчливая старушка, причем выяснилось, что «любимчикам» она отдавала самые вкусные куски, именно — горбушки, а нелюбимчикам оставалось только

завидовать. Впрочем, старушка руководствовалась, главным образом, отсутствием дурных поступков, и поэтому наш квартирный старший, Введенский, проявлявший строптивость и легкомыслие, получал горбушки реже, чем его подчиненные.

— А я ей покажу, старой карге! — ворчал он, придумывая разные школьные каверзы.

Обед был в два часа. Мы гурьбой отправлялись в маленький флигелек, где всецело царила Фаина Ивановна. Все усаживались за один стол. На шестнадцать человек подавались две чашки горячего — щи, лапша, похлебка. Это было очень немного, но повторения не полагалось. Вторым блюдом был картофель или каша, а иногда молоко. Во всяком случае, из-за обеда все выходили полуголодными и захватывали с собой корочки черного хлеба, который потом поджаривали где-нибудь в душнике печки, конечно, пополам с сажей. Особенно плохо доставалось по постным дням, когда на столе появлялись, главным образом, горошница, постные щи из крупы и похлебка из вяленой рыбы или сухих грибов. Вечером, в восемь часов, полагался ужин, уменьшенный по части питательности, сравнительно с обедом, на несколько градусов. У Фаины Ивановны все было рассчитано с математической точностью, и мы голодали порядочно. Мне, после ямщичьих обедов на постоялых дворах, в первый раз приходилось «есть на артели». У всех — аппетит волчий, но никто не торопился с своей ложкой, и наблюдалась известная очередь. И голодали все одинаково… Всего удивительнее было то, что, когда в воскресенье мы купили с Ермилычем бутылку молока и Татьяна Ивановна узнала об этом, — она ворвалась к нам в комнату вся в слезах и с самыми горькими словами:

— Значит, вы голодны, ежели покупаете молоко?! Значит, я вас кормлю плохо?! Вот я до чего дожила… Пятнадцать лет держу квартиру, а такого сраму не видывала. Знаю, как вы и в обжорном ряду проедались… Все, все скажу инспектору!..

Последняя угроза являлась заключением всех позднейших речей Татьяны Ивановны, но она никогда не приводилась, конечно, в исполнение.

Обе старушки занимали рядом с нашей комнатой две небольшие комнаты, и можно было только удивляться их нервам, как они могли выносить неистовое галденье шестнадцати языков. На мельнице меньше шуму, чем было у нас, когда сейчас же после обеда начиналось отчаянное зубрение вслух, а особенно в «занятные часы», то есть от пяти до восьми часов вечера. И это неизменно изо дня в день, точно пускали в ход какую-то очень сложную машину. А ведь так же отчаянно зубрили наши отцы, деды, прадеды и прапрадеды, отдавая жестокую дань науке

доброго старого времени.

Кроме указанных выше подразделений на классы, давность учения и происхождение, выступило, конечно, основное деление, покрывавшее все остальные, — именно, деление на богатых и бедных. Положим, все за квартиру платили одинаково по четыре с полтиной в месяц, но богатство и бедность сказывались во всех мелочах, начиная с костюмов и кончая учебниками. Я принадлежал к богатым, как все поповичи. Но если моему отцу было трудно содержать меня в училище, то каково это доставалось несчастным дьячкам и пономарям, вытягивавшим из себя последние жилы, чтобы дать детям воспитание. У этих бедняков, конечно, и белье было грубое, и костюмчики сшиты домашней рукой, и сапоги чуть не из моржовой кожи. А главную беду, после квартирной платы, составляли учебники, которые приходилось во всяком случае покупать на свои кровные нищенские гроши. Некоторые малыши приехали со старинными учебниками, по которым учились еще деды, — это были почтенные старые латинские грамматики, напечатанные на толстой синей бумаге, переплетенные в кожу или холст и для крепости смазанные по краям маслом. Увы, — эти почтенные ветераны оказались никуда не годными, и приходилось покупать новые учебники, приспособленные к какой-нибудь новой системе. Но нам казалось, что старинные латинские учебники были лучше новых: ведь недаром наши деды и прадеды читали, писали и могли говорить по-латыни.

Бедность особенно ярко выступала, когда дело доходило до привезенных из дому подорожников, разной домашней стряпни и вообще гостинцев. Дьячковские дети привезли какие-то твердые лепешки, не менее твердые крендели, сибирские шаньги — и только. Александр Иваныч, в качестве цивилизованного заводского поповича, относился ко всякой деревенщине с величайшим презрением, как к низшим существам. Самодовольно улыбаясь, он по сту раз в день перебирал смешные, по его мнению, деревенские слова:

— Зепь… ясен колпак… язевый лоб… водерень!

«Ясень колпак» и «язевый лоб», очевидно, были деревенскими поговорками, а что такое *зепь*, — так и осталось для меня неизвестным. Насколько помню, *зепь* обозначало вообще мужика, как сибирское *челдон*. *Водерень* употреблялось в смысле наших *верно, правильно, действительно*, и я только впоследствии догадался об этимологическом происхождении этого слова, — именно, оно обязано своим появлением давно исчезнувшему обряду наших далеких предков при размежевании земель клясться дерном. Делалось это, кажется, так: с межи вырезались

куски дерна, их клали заинтересованные в деле лица себе на голову и клялись землей, что установленные границы никогда не будут нарушены. Отсюда и получилось водерень: дерно, дернь, в дернь, водерень, то есть клянусь землей.

Александр Иваныч держал себя с большим авторитетом, и, как я заметил, все другие подчинялись ему, за исключением одного Ермилыча, у которого был свой характер и которого, выражаясь по-школьному, нельзя было задевать, задирать и *ячить* — последнее слово исключительно бурсацкого происхождения, и вероятно, переделано из славянского глагола *яти* — брать.

Раз Ермилыч раскрыл свой сундучок, содержавшийся в величайшем порядке, и что-то перебирал из своих пожиток. Александр Иваныч наблюдал за ним и с своей обычной улыбкой спросил:

— А где у тебя капуста?

Вопрос по существу был самого невинного характера; но Ермилыч весь побелел от злости, вскочил и запустил сапогом в Александра Иваныча. Очевидно, последний ожидал такого ответа и вовремя отклонился в сторону, — сапог летел прямо к нему в физиономию. Ермилыч стоял с широко раскрытыми глазами и не мог выговорить ни одного слова, потому что весь трясся, и его губы сводила судорога. Дело объяснилось тем, что у Ермилыча была школьная кличка заяц, которой он не переносил и каждый раз приходил в бешенство. Тот же Александр Иваныч при всех совершенно безнаказанно мог называть Введенского — просвирней, а с Ермилычем шутить было опасно.

Прозвища и клички придумываются школьниками в большинстве случаев очень удачно, и у Ермилыча в складе лица действительно было что-то заячье. Так, у нас на квартире оказался ученик среднего отделения, которого называли Шиликуном, потому что у него была какой-то необыкновенной формы голова, конусом, и комическое выражение лица, а шиликун, по народной мифологии, что-то вроде комика при домовом.

Всякая кличка складывается на артели, и в ней появляется известная общественная характеристика, по большей части юмористического оттенка. В большинстве случаев она отличается чисто русской меткостью, хотя были и совершенно бессмысленные прозвища. Так, у нас в училище был ученик, которого звали Дышло, потом я знал: Шлифеичку, Жаке, Галуппи. Шлифеичка — деревянная ручка, которой сапожники лощат сапожные ранты; почему это название приклеилось к человеку — трудно объяснить. Одним из остроумных прозвищ было то, которое носил инспектор нашего училища, — его звали Сорочьей

Похлебкой. Основанием для этой клички послужила привычка инспектора уверять, что он знает решительно все, что делается в недрах бурсы и на частных квартирах, а по народной поговорке про таких всезнающих людей говорят, что они ели сорочьи яйца.

III

В течение этих первых дней мне пришлось познакомиться с положением настоящего новичка, с той жестокой школой, которую он неизбежно должен пройти. Лично меня такая выучка не коснулась, потому что я поступил сразу в высшее отделение и тем самым попал в привилегированное положение. Все новички проходят через целый строй горьких к тяжелых испытаний, но alma mater возвела их в настоящую систему, которая установилась, как выражаются старинные учебники истории, с незапамятных времен. Отдельные лица теряли всякое значение сами по себе, а действовала именно система, безжалостная, всеподавляющая, обезличивающая и неистребимая, как скрытая болезнь.

В числе новичков, поступивших в низшее отделение, были два очень милых мальчика, двоюродные братья Протасовы. Один был постарше, Павел, второго звали Ваней. Этот последний был еще совеем ребенок, хорошенький, розовый, с детскою полнотой и еще не утраченной наивностью, напоминающей утреннюю росу. Оба были поповичи и притом состоятельные. Они были откуда-то с дальних заводов и во всем отличались от деревенских поповичей — чистенькие, вежливые, воспитанные. Вероятно, именно выдававшаяся культурность и вызвала то, что все как-то сразу отнеслись к ним с скрытой враждебностью. Alma mater бурса желала оставаться сама собой и с бесстрастием опытного хирурга приводила всех к одному общему знаменателю.

— Ябедники, наверно, будут, — решил кто-то вперед.

Ябедник — это опасное слово при драконовских нравах бурсы, и я только впоследствии понял все его громадное значение. Достаточно одного подозрения, чтобы человек буквально погиб, как погибает безвозвратно прокаженный. Бурса тысячью средств доймет его и уничтожит. Спасения не могло быть. Именно с этого рокового подозрения и начались бедствия маленьких новичков. Составился целый заговор. Введенский о чем-то шептался с Ермилычем и Шиликуном, а последний входил в какие-то таинственные сношения с деревенскими новичками. Паша и Ваня, предчувствуя беду, жались один к другому, как пойманные зверьки.

— Два сапога — пара, — сурово заметил Ермилыч, отличавшийся вообще строгостью характера.

Травля началась систематически и, вероятно, по способу, постоянно практиковавшемуся всей бурсой. Один из деревенских новичков подходит и говорит:

— Давайте поиграем…

Приличные мальчики переглядывались и старались уклониться от любезного предложения.

— Мы не умеем играть… — отвечал Паша, который был побойчее.

— Как не умеете? — удивлялся Шиликун, — Это вы притворяетесь… В городки умеете?

Мальчики переглядываются и, ввиду такого невинного предложения, соглашаются. Игра в городки — самая невинная по существу детская забава. Берутся пять и больше небольших, гладких камушков, которые укладываются в руку. Один камень бросается вверх, и пока он летит, игрок должен из лежащей перед ним кучки взять сначала одни камень, потом другой и т. д., до тех пор, пока все камни будут в горсти. Это и есть «взять городок». Следующий номер, — берут камни по два, потом по три и, наконец, нужно схватить все разом. Игра очень несложная и не требующая особенного искусства. Но бурса ухитрилась сделать из нее настоящую пытку.

Паша оказался искуснее деревенского новичка и обыграл его. Тогда его место заменил Шиликун, оказавшийся настоящим мастером своего дела. Другие следили за игрой с замирающим сердцем, а в качестве знатоков дела, решающих, кто остался победителем, присутствовали Александр Иваныч, Введенский и Ермилыч.

— Кончен бал! — провозгласил Ермилыч с какой-то особенной радостью. — Ну, Шиликун, покажи ему, как нужно играть…

Теперь началась расплата за проигранную партию. Паша должен был положить руку ладонью вниз рядом с камушками. Шиликун бросал камень вверх и во время его полета успевал пребольно ущипнуть руку Паши, так что она сейчас же покрылась синяками и вспухла.

— А, что? Славно?!. — с злорадством спрашивал Александр Иваныч, заглядывая в покрасневшее от боли лицо Паши. — Видишь, какой неженка…

Следующим номером было новое истязание: Шиликун при бросании камушков стал щипать вспухшую руку продолжительнее, сильнее, так что показалась кровь.

— Ай да Шиликун… Молодца!.. — хвалил кто-то.

У бедного Паши показались слезы на глазах, и это его окончательно погубило в глазах всей публики.

— Да он пойдет ябедничать! — крикнул кто-то.

— Закати ему горячих, Шиликун! — поощрял Введенский, приходя в азарт. — Таких плакс надо учить…

Введенский ни с того ни с сего ударил Пашу и задыхавшимся голосом спрашивал:

— Пойдешь ябедничать… а?.. Ведь пойдешь?!

Еще и еще удар, и посыпались удары, что заставило Александра Иваныча удушливо хохотать до слез. Сцена получилась самая отвратительная.

— Я сам кончу! — решил Введенский, занимая место Шиликуна.

Последнее истязание заключалось в том, что один камень за другим клали под руку Паши, и Введенский во время полета камня бил по ней кулаком.

Извиняюсь перед своими маленькими и большими читателями за описание подобных жестокостей, которым нет счета, как нет границ суровой изобретательности в этом направлении. Мне приходится описывать подобные отвратительные сцены, чтобы дать понятие, что такое была старая жестокая школа, и чтобы нынешние дети поняли и оценили по достоинству высокий гуманизм новой школы. Все вещи познаются по сравнению…

Меня глубоко возмутила эта игра в городки, а больше всего — бессердечное поведение Александра Иваныча, которому стоило сказать одно слово, чтобы прекратить все. Я даже не мог говорить с ним, а обратился к Ермилычу. Но Ермилыч сначала долго не мог понять, что я ему говорил, потом изумился и, наконец, рассердился.

— Тебе надо было дома оставаться да на печи сидеть, — заявил он. — Когда мы были новичками, так не то еще бывало… Это еще цветочки, а ягодки впереди.

— Какие ягодки?

— А такие… Каждого новичка вот как нужно учить. Не в бабки приехали играть… Вырастет большой — сам других будет учить. Александр Иваныч четыре года просидел в низшем отделении, так спроси его, как его учили. Получше нынешнего… Поучат — человеком будет.

Ермилыч говорил вполне убедительно, как человек, который верит в собственную правоту. Меня удивило больше всего то, что Ермилыч терпеть не мог Александра Иваныча и еще только на днях запустил в него сапогом, а теперь вполне согласен с ним. Мало этого, Ермилыч передал наш разговор Александру Иванычу

и Введенскому, которые жестоко осмеяли меня. Дальше случилось так, что мое слабое заступничество послужило только во вред новичкам, и Введенский нарочно при мне старался над ними проявлять свою власть старшего, причем Александр Иваныч считал почему-то нужным хохотать до слез.

— Ну-ка, Илья, дай еще горячих! — поощрял он расходившееся начальство. — Да по носу не бей, а то пойдет кровь…

Введенский дрался артистически, как человек, который сам прошел всю школу битья.

IV

Накануне первых классов в нашей квартире были открыты первые «занятные часы», которые начинались в пять часов и кончались в восемь. Введенский сразу явился в роли строгого начальства. Наше высшее отделение занимало маленькую комнату, а среднее и низшее устроилось в большой. Введенский завел квартирный журнал и заносил каждый день, что в квартире обстояло все благополучно. Ему нравилась каждая мелочь, которая выясняла его положение. В «занятные часы» ученики должны были вставать, когда он что-нибудь спрашивал. Из усердия Введенский сделал самый строгий осмотр книг, тетрадей, карандашей, перьев и всех остальных канцелярских принадлежностей, причем всячески придирался к Паше и Ване, хотя у них все было в порядке.

— Вы у меня смотрите, — пригрозил им Введенский уже решительно без всякого основания.

Увлекшись своей ролью, он хотел проделать то же самое и с нами, но Александр Иваныч показал ему кулак и проговорил:

— А это хочешь? Я тебе покажу такого старшего, что небо с овчинку покажется.

Ермилыч пообещал что-то в том же роде, и Введенский сосредоточил свое внимание на двух низших отделениях, причем произвел настоящий экзамен по всем предметам. Он особенно налег на пение, вероятно, потому, что сам пел хорошо и не сбивался «на глас***а***х».

Из-за этих «глас***о***в» произошла настоящая битва. Введенский поймал именно на них несчастных заводских поповичей. Посыпался целый град ударов.

— Ну, глас четвертый?! — орал Введенский, как, по его мнению, должно было орать всякое настоящее начальство.

Бедному розовому Ване особенно досталось. Со страха он

перепутывал все гласы и должен был петь, когда задыхался от слез. Введенскому бело мало самоличного битья, и он устроил настоящее издевательство, заставляя по очереди Пашу и Ваню бить друг друга.

— Вот тебе глас первый! — кричал он, поощряя несчастных детей. — Пашка, валяй его по второму гласу… Прибавь еще глас третий… Так и поется:

Била меня мати за пя-а-а-тый глас

Все глас***ы***, на которые пелось «Господи, воззвах к тебе, услыши мя», заучивались, как солдатские сигналы, по особым присловиям, как третий глас. Седьмой глас пелся так: «Летела пташечка по ельничку, напали на нее разбойнички и убили ее». По части этих глас***о***в я оказался слабоватым, и помню, мне почему-то никак не удавался второй глас. Вообще заводские поповичи были в пении гораздо слабее деревенских, которые у себя дома постоянно помогали отцам при церковной службе с раннего детства.

Мне пришлось видеть только часть сцены обучения пению на гласы, потому что Ермилыч затворил двери нашей комнаты и, перемигнувшись с Александром Иванычем, полез в свой сундучок. Оказалось, что в сундучке Ермилыча был устроен потайной ящичек, в котором, как запретный плод, хранился табак. У Александра Иваныча папиросы прятались в корешке латинского словаря.

— Ермилыч, действуй… — шептал Александр Иваныч, становясь на часы к дверям.

Ермилыч поставил табурет на свой сундук, открыл в печи душник и, раскурив крючок, набитый табаком, жадно припал с ним к душнику. Он затягивался до слез, пока не закружилась голова. То же проделал и Александр Иваныч со своей папиросой. Курение табаку подвергалось строгому преследованию со стороны начальства, и курильщики рисковали познакомиться с роковым расчетом в субботу, когда Сорочья Похлебка немилосердно сек лентяев, курильщиков и нарушителей школьной дисциплины вообще. Но страх наказания никого не удерживал, и курили все, кто только хотел. Риск только придавал особую приятность наслаждению табаком. У нас на квартире курили трое, а Введенский еще нюхал табак.

— Ух, хорошо! — повторял Александр Иваныч, глядя кругом осоловелыми глазами. — Только бы не узнал инспектор…

— А зачем он сам курит?..

«Занятные часы» были устроены для младших отделений, а

нам решительно нечего было делать. До ужина времени оставалось много, и Введенский отправился к Татьяне Ивановне просить какую-то таинственную книгу, которую она давала читать только за общее хорошее поведение. Он скоро вернулся с довольно толстым томом, носившим даже снаружи явные признаки самого живого внимания читателей.

— Эге, давай-ка ее сюда, голубушку!.. — торжественно заявлял Александр Иваныч. — Я три раза прочитал ее от доски до доски и знаю, где в ней раки зимуют.

Эта книга был знаменитый «Английский милорд». Сама Татьяна Ивановна по малограмотности, конечно, не читала его и охотно давала читать своим квартирантам. Александр Иваныч отметил на полях ногтем самые интересные для него места, которые и прочел… Я ничего подобного до сих пор не читал и не слыхал и поэтому заявил, что книга гадкая и читать ее совсем не стоит.

— Ничего ты не понимаешь, — авторитетно заявил Александр Иваныч: — «Никласа Медвежью Лапу» читал? Нет? А «Битву русских с кабардинцами»? Тоже нет? А «Лесного бродягу»? Так о чем мы с тобой будем разговаривать… Одним словом, как есть ничего не понимаешь.

Завязался горячий спор, причем я перечислил целый ряд авторов, имена которых в этой квартире оказались пустым звуком и вызывали смех.

— Гоголь — птица, а не человек, — смеялся Александр Иваныч. — Ты и этого не понимаешь. Утка такая есть дикая, которую зовут гоголем.

Я спорил до слез, защищая своих любимых авторов, но из этого, конечно, ничего не вышло, кроме насмешек и хохота. Поражение было полное, и я никогда еще не испытывал такой кровной обиды. Мне с особенной яркостью представилась картина нашей жизни в Висиме, любимый шкаф с книгами, чтение по вечерам, разговоры о прочитанном… Как это было недавно и как далеко!

V

Знакомство мое с настоящей бурсой произошло только с открытием классов. У меня еще сохранились впечатления первого пребывания в недрах этой бурсы, когда я «убоялся бездны премудрости и возвратился вспять». Помню сцену, которая разыгралась в первый же урок, когда в класс явился грозный инспектор. Это был еще молодой, высокого роста священник с

красивым, матовым лицом и целой волной темных вившихся волос. Он ходил какой-то особенной, развалистой походкой и смотрел как-то сразу в лицо тому, с кем говорил. Войдя в класс, он окинул его инспекторским глазом и поманил кого-то пальцем. Из-за парт поднялась взъерошенная фигура. Инспекторский палец продолжал манить, и взъерошенная фигура подошла, остановившись «на приличном расстоянии». Мне кажется, что это фигуральное выражение нигде не было так применимо, как именно в данном случае.

Произошла короткая, но выразительная сцена.

— Курил опять?

— Ей-богу, нет!..

— А, не курил?! Дохни!

Инспектор наклонился, и взъерошенный бурсак дохнул ему прямо в нос.

— Крепчайший табак, — определил инспектор, и взъерошенный субъект как-то разом полетел на пол, точно его сдуло ветром…

Дальше пошло избиение, — таскание за волосы. От волнения инспектор сделался еще бледнее, а темные большие красивые глаза сделались еще больше и темнее. Эта сцена произошла на моих глазах около тридцати лет тому назад, и я до сих пор не могу ее понять. Грозный инспектор совсем не был злым человеком, а только старался исправить неисправимую бурсу… За упорное табакокурение полагалось исключение из духовного училища… Чтобы не губить человека, суровый инспектор прибегал к отеческим мерам и домашним средствам.

Собираясь в первый раз в классы, мы на квартире делали особенные приготовления. Старые ученики отламывали по кусочку от утренней порции белого хлеба и прятали их по карманам. Исключение представляли из себя Александр Иваныч и Ермилыч. Павел Иваныч Хвост объяснил мне, что эти кусочки — дань голодной бурсе. Действительно, когда мы пришли в свой четвертый класс, нас обступила целая голодная бурсацкая толпа, одетая в какие-то длинные серые пальто. Голод — ужасная вещь, и кто видел взгляд голодного человека, тот никогда его не забудет. Бурсаков было всего человек пятнадцать в нашем классе, но это была сплоченная и организованная толпа. Каждый делал себе свободный выбор из среды квартирных учеников, которые являлись в роли овец «стригущему их безгласных». По совету Павла Иваныча, я, на всякий случай, имел кусок утренней порции, который меня страшно смущал, потому что хотя я и сам был голоден, но с удовольствием отдал бы первому голодному бурсаку.

Произошла такая картина. На меня сразу обратил внимание среднего роста бурсак с какой-то серой физиономией, кажется, присвоенной всем бурсакам. Он в один миг свесил своим взглядом, что я — новичок, трус и жертва для его аппетита.

— Хлеба! — отрывисто проговорил он, протягивая руку. — А то будут чиканцы…

Есть ничтожные, но решительные моменты в жизни каждого человека. Я уже готов был отдать свою дань смельчаку (его прозвище — Тетеря, потому что он имел несчастие обладать длинным носом, — признак, который бурса, вопреки «Брему», относила к разряду куриных), но в этот критический момент на выручку ко мне неожиданно явился другой бурсак, Николай Постников, и проговорил с решительным видом:

— Калю!..

На бурсацком языке слово «калю» имело такое же значение, как на языке полинезийцев слово «табу», то есть кто произнес его, тот и делался неприкосновенным собственником той вещи, над которой было сказано магическое слово.

Мне приходится сделать маленькое отступление. Все воспоминания, хотя они и ведутся в хронологическом порядке, страдают некоторой непоследовательностью. Так и в данном случае я должен вернуться к своему сидению в селе Аяцком, где я случайно познакомился именно с этим Николаем Постниковым, одним из типичнейших бурсаков. Он приходил к моим огуречникам, и мы познакомились. Особенного ничего в этом знакомстве не было, и помню только испытующий и взвешивающий взгляд старого, опытного бурсака, когда он узнал, что я еду учиться в духовное екатеринбургское училище.

Вероятно, на основании этой случайной встречи Постников и «закалил» меня в свою собственность как данника. Нужно было видеть выражение лица Тетери, когда лакомая добыча ускользнула у него из рук… Потом, когда Тетеря несколько раз пытался отомстить мне, Постников неизменно выручал. Я думаю, что тут дело было не в том кусочке хлеба, который я ежедневно ему приносил, а именно в нашей встрече в Аяцком. Постников любил вспоминать о ней, и у него делалось совершенно другое лицо, когда он говорил:

— А помнишь Аяцкое село? Отличное место… Огуречники-то, с которыми ты ехал, тоже из духовного звания…

Мне казалось, что Постников в эти моменты опять был среди родных полей и видел свое Аяцкое село, как обетованную землю, — это была последняя дань родине. Никакая бурса не в состоянии уничтожить этого тяготения к родному гнезду.

В течение первого же дня определился состав нашего класса,

распавшийся на две неравных половины. Меньшую составляла бурса, а большую — квартирные ученики. Всех квартир, кажется, было пять, и наша оказалась самой скромной. Все заняли одну парту, и только для меня не осталось места.

— Иди сюда, — предложил мне высокий, рыжеватый малый с какими-то остановившимися, как у ястреба, глазами. — Я знал твоего брата…

Не дожидаясь моего согласия, он потащил меня за руку на одну из задних парт, где помещалась «Камчатка». Моим соседом оказался маленький ученик с рябым лицом, серыми, мигавшими глазами, кудрявыми, походившими на пух, белокурыми волосами и удивительно подвижным носом. Это оказался самый отчаянный забияка во всем классе, Сельмяков, а на училищном языке — Патрон. Он презрительно осмотрел меня с головы до ног и только фукнул носом. Очевидно, я в его глазах не выдержал экзамена.

— Моя фамилия — Хлызов, — рекомендовался товарищ моего брата.

Первый урок был катехизис, и все замерли, когда в коридоре послышались тяжелые инспекторские шаги. Когда мы встали для молитвы, Патрон кольнул меня иголкой в ногу и, улыбаясь, шепнул:

— Ступай, жалуйся!..

Я хотел отодвинуться, но Хлызов, глядя в глаза инспектору, незаметно ни для кого принялся колоть меня в бок спрятанным в горсти перочинным ножом. Было больно, но я крепился и выстоял молитву неподвижно, что и спасло меня от дальнейших испытаний. Закончилось это знакомство тем, что когда я достал свой перочинный ножичек, Хлызов выхватил его и проговорил:

— Это мой ножичек… Твой брат взял его у меня на подержание. Одним словом, калю…

Право сильного царило в этих стенах в своем полном объеме.

VI

В течение первого же дня я познакомился со всем наличным составом бурсы нашего класса. По наружному виду все бурсаки походили один на другого благодаря однообразному костюму и, точно присвоенным специально бурсе, серым, словно выцветшим лицам и, — я бы сказал, — голодным волосам… Для того, чтобы последнее выражение было понятнее, приведу пример, именно, волосы выздоравливающих после жестокого тифа. Костюм бурсаков состоял из казинетовых сюртучков и таких же брюк, а шея закрывалась глухим галстуком из сукна. Почему так

отчаянно голодала бурса, трудно сказать. У них был и чай утром, и обед, и ужин, конечно, скудные, но казалось бы, что до голода было еще далеко. Главное лишение бурсы заключалось в том, что ее кормили одним ржаным хлебом и белый давался, кажется, только по праздникам. Это лишение являлось именно в нашем училище особенно чувствительным, потому что в шестидесятых годах даже простые крестьяне в Екатеринбургском уезде ели только пшеничный хлеб. Другой причиной этой училищной голодовки, вероятно, служила вообще вся обстановка, при которой бурсе приходилось отбывать свою учебу. Лучшие комнаты были заняты спальнями, устроенными уже совсем не по чину, а день проходил наполовину в классах, а другую половину — в «занятных комнатах». При училище не было садика, и бурса толкалась на дворе, прямо на глазах у своего начальства. Всего печальнее были для бурсы праздники, когда она бродила по двору, по коридорам, по «занятным комнатам», как «неприкаянная душа».

Бурса всегда голодала, но голодали ведь и мы, квартирные, хотя и находились относительно в лучшем положении.

Из безличной, на первый взгляд, толпы бурсаков первым номером выделился добродушный верзила, по прозвищу Масталыга. Ему было лет двадцать, и он казался среди нас настоящим великаном. В качестве бурсака он считал своею обязанностью задирать квартирных и с первого же раза «нарвался» на отчаянного Патрона. Произошла самая комическая драка. Патрон вскочил на парту, отчаянно размахивая перочинным ножом, кричал:

— Не подходи, — убью!..

— Ну, убивай, — добродушно говорил Масталыга, размахивая длинными руками, как ветряная мельница.

Это было настоящее единоборство воробья с журавлем, закончившееся тем, что Патрон действительно победил Масталыгу, то есть ранил его ножом в ногу. Квартирные торжествовали свою победу…

— Я ему, Патрону, оборву ноги, как таракану, — говорил в нос Масталыга.

Великан нисколько не сердился, потому что сражался только за честь своей родной бурсы.

Это событие произошло в первую перемену, а после второго урока в качестве героя выступил наш Ермилыч. Он скромно сидел за своей партой и не принимал никакого участия в буйных шалостях. Я видел, как несколько раз к нему подходил Тетеря и «задирал». Ермилыч крепился, и Тетеря отошел ни с чем. Его место занял бурсак Атрахман, сгорбленный, худой, с каким-то

неприятным лицом и злыми кошачьими глазами. Он сразу нанес Ермилычу кровную обиду, то есть сделал из своих пальцев заячьи уши. Ермилыч побелел от злости и вылетел из-за своей парты одним прыжком. В следующий момент на Атрахмана посыпался целый град ударов, так что он даже и не защищался, а самым позорным образом отступал в угол, напрасно стараясь защищать лицо руками. Ермилыч поступал по приему всех великих героев, то есть не дал опомниться врагу. Кончив расправу, он преспокойно сел за свою парту. На него было просто страшно смотреть, — бледный, задыхающийся, с остановившимися глазами и судорожной улыбкой на своих бескровных губах.

— Будешь помнить заячьи уши… — хрипло шептал он.

Атрахман был посрамлен. Бурсе сегодня вообще не везло, хотя она и выставила своих первых бойцов. В резерве оставался главный силач — Демьяныч, но он не желал принимать никакого участия в задирании квартирных. Как все настоящие силачи, Демьяныч отличался самым мирным характером и только улыбался какой-то больной улыбкой. Бурса умела ценить героев, и в течение двухлетнего курса я не помню, чтобы кто-нибудь задирал Демьяныча.

После нанесенного Ермилычем поражения Атрахману бурса решилась выместить все на нашем старшем Илье Введенском. Травля шла настойчиво, и бурса проявляла сплоченность действия, тогда как квартирные действовали только врассыпную. Проявлявший у себя дома просвещенный деспотизм, Введенский оказался в классе самым жалким трусом. К нему подошел единственный толстый бурсак Галуппи, посмотрел несколько мгновений в упор и без всяких слов ударил его. Этот военный прием Галуппи вызвал бурное одобрение.

— Валяй, Галуппи, Просвирню по уху!..

— Братцы, смотрите, как у Просвирни обе щеки трясутся… Ай да Галуппи, молодец!..

Галуппи, поощренный общим одобрением, действовал медленно и наносил удар за ударом не спеша, с самым серьезным лицом, точно он исполнял какую-то очень важную обязанность. Припоминая, как Введенский истязал Пашу и Ваню, я нисколько не пожалел его, а даже думал про себя: «Так его и надо…» Всего интереснее было то, что Александр Иваныч, сидевший рядом с Введенским, не пошевелил пальцем, чтобы заступиться за него, а только хохотал…

Вообще первый училищный день прошел в усиленных драках, напоминавших бои молодых петухов. Нужно заметить, что большинство этих драк происходило точно по обязанности… Известное молодечество, удаль и молодой задор требовали

выхода, и бурса его находила.

Но не все, конечно, бурсаки были буянами и забияками. Среди них были и очень мирные люди. Эти мирные бурсаки являлись каким-то исключением, жалкими париями. Вечно ожесточенная, голодная, воинствующая бурса презирала их от чистого сердца, на том простом основании, что она являлась силой, а эти создания профанировали суровые основы грозной школьной общины. В бурсе ее неписанные уставы, порядки и обычаи передавались из поколения в поколение и блюлись неукоснительно. Бурсак являлся для самого себя человеком обреченным, который только исполнял то, что было выработано веками… Из бурсы выработалось своего рода казачество, та учебная «Сечь», где выживал только сильный и где ценилась только сила. Ведь наши отцы, деды, прадеды и прапрадеды проделывали то же самое.

В первый же учебный день определилась роль нашей квартиры. Мы оказались очень скромными, настолько скромными, что бурса, на основании своих суровых законов, отнеслась к нам с полным презрением и обложила данью, как побежденную нацию. Три других квартиры тоже оказались скромными, и исключение представляла только одна квартира, на которой жили Хлызов и Патрон. Кстати, с ними вместе жил второй, после Масталыги, великан, которого все называли по отчеству — Кинтильяныч. Это был добродушный человек, костлявый, сгорбленный, с длинными руками, которые точно были привешены к его туловищу плохим мастером и болтались совершенно бессильно. Бурса всевозможно приставала к Кинтильянычу, чтобы вывести его из терпения, но это не удавалось. Среди бурсаков был один, которого называли Демоном, вероятно, за искусство приставать, но и Демон ничего не мог поделать с Кинтильянычем.

Главным неудобством в личном составе нашего класса являлось то, что между учениками была слишком большая разница в летах — тринадцатилетние мальчики, с одной стороны, и двадцатилетние парни, с другой. Из этого неравенства и естественного перевеса физических сил возникал особый вид школьного рабства.

VII

Училищное начальство состояло из ректора, очень почтенного священника о. Петра с магистерским крестиком, и инспектора училища о. Константина. Ректор иногда посещал

классы, а в общем мы его редко видели. Он пользовался общим уважением, и его боялись, потому что ему принадлежала карающая власть. Главной карой было увольнение из училища, а затем — субботние расчеты, когда училищный сторож Палька сек за леность, табакокурение и другие провинности. Нужно сказать, что сечение производилось не каждую субботу, и я в течение двухлетнего пребывания в училище только раз слышал издали отчаянные вопли наказуемых… Самому мне ни разу не пришлось познакомиться с искусством Пальки, типичного отставного солдата из поляков, с крючковатым носом и всегда сонными глазами. Ректор обыкновенно являлся в наш класс в один из субботних уроков, с роковым списочком в руках. Он никогда не сердился и не волновался, а только по своему списочку вызывал провинившихся, которые покорно и отправлялись за ним. Ученики относились к ректору тоже без злобы, как к человеку, который только исполнял свой долг.

В общем, наказания у нас, повторяю, применялись редко и то по каким-нибудь особенным случаям.

Совершенно иные отношения существовали с инспектором, особенно у бурсы, которая не любила его. На чем основывалась эта нелюбовь, я не могу понять до сих пор. Инспектор ничем особенным не выделялся, кроме того, что из года в год вел самую отчаянную борьбу с бурсой. Кажется, не было такой пакости, которую бурса не устроила бы неприятному инспектору. Все средства считались дозволенными. В свою очередь, инспектор, может быть, иногда злоупотреблял стереотипной фразой:

— А тебя, Словцов, ве-ли-ко-леп-но высекут.

Может быть, эта нелюбовь к инспектору происходила от той простой причины, что с ним приходилось иметь дело в самые неприятные моменты и по самым неприятным поводам. Он преподавал катехизис и латинский язык, и его классы представляли величайшую грозу, — за полученную у инспектора двойку расчет производился у Пальки.

Остальные учителя отличались самым мирным характером, и я не видал ни одного случая, чтобы кто-нибудь из них тронул ученика пальцем. Если бурса упорно желала остаться бурсой, то учительский персонал уже не имел ничего общего сравнительно с недавним прошлым. Исключение представлял один учитель пения, соборный протодьякон, которого почему-то называли Детраго. Это был громадный, полный мужчина, лет пятидесяти, с пышной шевелюрой и окладистой бородой. Класс пения служил отдыхом и развлечением, потому что Детраго обращался со всеми запросто. С ним школьничали, — незаметно прицепляли бумажки к спине, задавали самые глупые вопросы и вообще приставали,

как мухи.

— А к Пальке хочешь? — добродушно басил Детраго. — Он тебе даст должный ответ на твой глупый вопрос…

Лично у меня с ним произошло очень неприятное знакомство.

— Ну, на шестой глас, — предложил он мне.

Детраго, как инспектор и ректор, всем говорил «ты».

Я заголосил, но неудачно.

— Ну-ка, ты — на второй глас… — предложил он поправиться.

Опять неудача. Детраго посмотрел на меня своими добродушными большими карими глазами и решил раз навсегда:

— Ну, брат, у тебя голова-то песком набита!..

Мне было очень обидно это слышать, и я пожалел, что не выучился у нашего заводского дьячка Николая Матвеича премудрости пения на гласы.

Бурса особенно любила церковное пение и предавалась ему с большим азартом. В классе было около сорока человек, и все голосили неистово. Вообще спеть что-нибудь духовное составляет слабость мелкого купечества, мелких чиновников и разных мелких служащих, а здесь увлечение пением являлось вполне законным. В этом отношении у бурсы был свой герой, соборный протодьякон, о котором рассказывались целые легенды. Рассказы из протодьяконской жизни являлись любимой темой для всего класса. Источником самых свежих новостей служил живший у него на квартире ученик из нашего класса. Мы отлично знали, как жил протодьякон изо дня в день. Утром он, когда служил с архиереем, надевал сапоги на пробковых подошвах (эта подробность почему-то особенно нравилась бурсе, как что-то необыкновенное), на купеческих именинах говорил такое многолетие, что дребезжали стекла в окнах… Одним словом, протодьякон являлся сказочным героем.

Светских учителей, то есть ходивших в сюртуках, было всего трое: учитель русского языка, Григорий Алексеевич, очень милый и конфузливый молодой человек, которому не готовили уроков; учитель арифметики и географии, Константин Михайлович, чахоточный, унылый мужчина, который, кажется, ни на что не обращал внимания, и учитель греческого языка, Николай Александрович. Последний являлся общим любимцем, и его класс всегда был лучшим. Это был красивый, подвижной молодой человек, державший класс в ежовых рукавицах и все-таки пользовавшийся общей любовью. Он умел держать весь класс в напряженном состоянии и видел каждого. Чуть кто не слушает, — сейчас вопрос:

— А как перевести эту фразу?

Николай Александрович и задавал много, и требовал много, и в классе не позволял лениться. Для меня лично это был первый настоящий учитель, который умел оживить даже такой сухой предмет, как греческий язык. По моему мнению, каждый истинный педагог должен быть артистом, и таким именно артистом был Николай Александрович.

В общем, за исключением Николая Александровича, наша педагогия стояла очень невысоко, и вся наука сводилась на самое отчаянное зубрение, в силу установившихся взглядов, что умнее книги не скажешь. Мы просто не умели учить своих уроков и брали их на память. Здесь проявлялась старая бурсацкая закваска, которой были пропитаны самые стены заведения, как пропитываются миазмами стены госпиталей, лазаретов и больниц. Но не все можно было взять зубрежкой, и нужно было видеть те отчаянные усилия, которые затрачивались на арифметику. Были просто мученики, как наш Александр Иваныч. Кто-нибудь из товарищей решал задачу, а он ее выучивал уже по-готовому. Александр Иваныч вообще не отличался блестящими способностями, но все-таки был человек смышленый и толковый, и просто было жаль смотреть, как он убивался над противной «мачимачихой». Он был отличный зубрила и учил урок, сидя на своем сундуке и раскачиваясь из стороны в сторону, как делают некоторые звери, которые слишком долго сидят в клетке и впадают в тихое, ритмическое помешательство.

Были такие артисты по части зубрения, которые отвечали без запинки на вопрос из катехизиса Филарета: «Что сие значит?» — стоило только назвать страницу. Некоторые настолько втягивались в зубрение, что утрачивали всякую способность отвечать «своими словами». Как сейчас, вижу Александра Иваныча, который, сидя на своем сундуке, потирая руки, закрыв глаза и раскачиваясь, мертвым речитативом зубрит текст из катехизиса и всегда повторит на закуску:

— Сколь легко и естественно любить и почитать родителей, столь же тяжек и непростителен грех непочтения к ним.

Из всех предметов училищного курса мне не давался один «Устав церковной службы», как я его ни зубрил. Происходило это оттого, что я, вероятно, по-настоящему не умел зубрить, а главное, — не понимал мудреного языка, каким он был написан. В самом деле, ведь нужно осилить такие слова, как «препразднство» и «попразднство».

VIII

Один день походил на другой, как у нас на квартире, так и в бурсе.

Я уже рассказывал, как у нас устанавливался на нашей квартире порядок и как Введенский изображал из себя начальство. Дальше власть начальства перешла уже в настоящий деспотизм. Действуя под прикрытием такой силы, как наш Александр Иваныч, Введенский потерял всякое чувство меры и развернулся во всю ширь. Постоянно заушая, он, с одной стороны, точно выдавал то, что получал сам в течение первых четырех лет своей училищной жизни, а получившие все это точно копили материал для будущего возмездия. И так велось из поколения в поколение; из поколения в поколение накоплялось то озлобление, которое сливало всю бурсу в какого-то тысячеголового полипа, где отдельные лица теряли всякое значение. Это — с одной стороны, а с другой — наша квартира являлась образцом какого-то особенного деспотизма, где царил безграничный произвол какого-нибудь временщика. Именно таким временщиком и был наш Введенский, неистовствовавший с каждым днем все больше. Ему доставляло наслаждение мучить маленьких человечков. Увлекшись собственным деспотизмом, Введенский переступил все границы возможного и наткнулся на Ермилыча, который наказал его беспощадно. Очевидно, Введенский рассчитывал на защиту Александра Иваныча, но тот изменил, как только умеют изменять люди подобного рода, и выдал Введенского с головой.

— Ну-ка, Ермилыч, хорошенько утешь Просвирню, — поощрял он, заливаясь неудержимым смехом. — Валяй, но чтобы синяков не было…

И Ермилыч «утешал» Просвирню на глазах у всех. Как все деспоты, Введенский совершенно растерялся и даже заплакал, что уже совсем не полагалось.

Но все, что делалось у нас в квартире, являлось только цветочками по сравнению с жизнью бурсы, где все принимало грандиозные размеры. Вечным пугалом бурсы и мотивом для всевозможных жестокостей являлась мысль об ябеднике. Этот ябедник разыскивался всеми путями и средствами, причем бурса проявляла иезуитскую изворотливость. Стоило инспектору наедине поговорить с каким-нибудь из учеников или оказать ему внимание не в пример другим, — и человек пропал. Бурса в этом случае действовала чисто по-иезуитски. Она сразу не набрасывалась на заподозренного, а только устраивала самый строгий надзор за ним и выдвигала самые удобные поводы для ябедничества. Такое испытание продолжалось недели и месяцы, и можно себе представить душевное состояние мальчика, который, конечно, не мог не заметить, что над ним тяготеет самое

страшное обвинение.

Ябедник — одно из тех страшных слов, которым клеймят человека на всю жизнь. Представьте себе, что человек совершенно не виноват, но достаточно уже того, что его могли заподозрить. Как теперь, вижу одного несчастного бурсака, который пришел к нам на квартиру, убитый, уничтоженный, близкий к помешательству. Это был скромный мальчик, которого инспектор отличил среди других, но это его погубило.

— Тебя били, Алферов? — спрашивал я под секретом, с глазу на глаз.

Он осмотрелся кругом и проговорил упавшим голосом:

— Меня уж давно бьют…

— Очень бьют?

— Нет, хуже чем бьют.

Оказалось, что бурса применяла к нему всевозможные способы истязания. Расправа производилась обыкновенно по ночам. Находились отчаянные головы, которые по целым часам сторожили, когда жертва заснет. Мучения производились настойчиво, причем виновных не оказывалось. Бедный Алферов особенно не мог вспомнить без содрогания подушек. Дело в том, что, когда он засыпал, бурсаки накидывались на него всей оравой и принимались колотить подушками. Сам по себе один или несколько ударов подушкой — вещь совершенно невинная, но когда на несчастного сыпался целый град таких ударов, получались тяжелые последствия… Если бы он и пошел даже жаловаться, то никакой медицинский осмотр не нашел бы ни малейших признаков побоев.

Я передаю только маленькую часть того, что проделывала бурса при закрытых дверях, и недаром она так боялась ябедников. В течение двухлетнего пребывания в училище я не решался ни разу побывать в гостях даже у знакомых бурсаков и бывал в училище только в классное время. Да, бурса оставалась бурсой, несмотря даже на то, что учителя и училищное начальство были людьми гуманными и просвещенными, за самыми редкими исключениями, как суровые расправы инспектора.

Да, дни шли медленно и тяжело. В течение какого-нибудь месяца я сделался совсем другим человеком, и мне начинало казаться, что недавнее прошлое отодвинулось далеко-далеко и что я — уже не я. На меня находили минуты самой тяжелой тоски, и я даже старался не думать о милом прошлом, о Висиме, о родных и знакомых. Но нет такого скверного положения, в котором не было бы своего утешения или надежды. У всякого из нас были заведены «деньки», то есть разграфленная записочка с обозначением всех дней до рождества. Каждый день вечером

каждый с великой радостью вычеркивал один денек из своей жизни. Только бы дотянуть до рождества, — дальше этого мечты не шли. Даже бурсаки, которым некуда было ехать на рождество, и те имели «деньки» и также вычеркивали один день за другим. Время являлось самым страшным врагом…

У меня тоже были «деньки», и я высчитывал вперед, что мне в течение двух лет придется отбывать около шестисот училищных дней.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ТРЕТИ

I

Первая учебная треть, то есть время до рождества, — самая тяжелая учебная страда, особенно для новичков. Целых четыре месяца самой отчаянной работы при самых невозможных условиях. Получалось что-то вроде маленькой детской каторги… По крайней мере лично мне казалось, что я уже никогда больше не увижу ни родного Висима, ни родных зеленых гор, ни дорогих родных людей… Время точно остановилось, а последний, четвертый месяц доставался тяжелее всего. Дни такие короткие, что мы уходили в училище, когда было еще темно, и возвращались на квартиру, когда начинало смеркаться. Едва успевали пообедать засветло. Прибавьте к этому еще рождественский шестинедельный пост, когда наше питание сводилось на форменную голодовку.

Итак, наши «деньки» убывали с тюремной медленностью. Давно уже выпал снег, давно установился отличный санный путь, давно уже велись душевные разговоры о своих родных углах… У каждого разыгрывался специальный детский патриотизм. Разве может быть что-нибудь лучше Висима? На эту тему происходили жестокие споры, заканчивавшиеся во славу родины очень нередко жестокой потасовкой. Глухие медвежьи углы рисовались в самом поэтическом свете, как своего рода обетованная земля. Особенно нервные мальчики иногда бредили по ночам своей родиной. Трудно далее описать то волнение, которое охватывало нас всех в ожидании поездки на рождество. Ведь целые две недели провести дома, а это, как известно, целая вечность.

Последние две недели перед отпуском превратились в какую-то пытку. Даже зубрили не с прежним ожесточением, а как-то вяло, без артистического увлечения. Мы уговорились ехать вместе с Александром Иванычем до Черноисточинского завода, откуда ему до Тагила было рукой подать, как мне — до Висима. Предстояло сделать зимним путем верст полтораста, с двумя ночевками в дороге, но все это были, конечно, пустяки, а только бы ехать домой.

Последние дни перед отпуском сделались невыносимыми. Всеми овладело молчаливое уныние. Весь запас детской энергии был исчерпан. Особенно унылым временем были наши «занятные часы». Некоторые ученики изобретали всякие способы, чтобы только убить как-нибудь время. Получались действия невменяемого характера. Помню, как Ермилыч все «занятные часы» проводил в том, что чинил карандаш. Очинит, напишет

строку, сломает и опять примется чинить.

— Ты лучше его отдай мне, — говорил Александр Иваныч в качестве аккуратного человека. — Деньги плачены…

Ермилыч не понимал этих добрых советов и продолжал свою работу, пока не кончался весь карандаш. Другие резали и рвали бумагу, и вообще получался целый ряд бессмысленных и нецелесообразных действий. Раз, когда Ермилыч с молчаливым ожесточением хотел приняться за новый карандаш, по лестнице послышались тяжелые инспекторские шаги, которые заставили всех оцепенеть. Тяжело растворилась и затворилась дверь в передней, и затем шаги стихли. Все затаили дыхание, не понимая, в чем дело. Но вот дверь в комнату растворяется, и на пороге останавливается взлохмаченная, высокая фигура деревенского дьячка. Вся квартира вздохнула точно одними легкими. Да, это был он, тот самый, который делал нас свободными.

Трудно себе представить ту бешеную радость, которая охватила всю нашу квартиру. Всякая субординация была забыта. Дьячка окружили со всех сторон, ощупывали, точно пришельца с того света, и засыпали вопросами. Этот взрыв внимания, видимо, сконфузил нашего гостя, и он смущенно оглядывался по сторонам.

— Идите к нам… — тащили его в разные стороны.

Дьячок был еще не старый человек, высокого роста, сутулый и какой-то серый. По робости, проявленной им с первых шагов, можно было решить безошибочно, что это был кровный бурсак, в свое время извергнутый из недр бурсы за «великовозрастие» или «древоголовие». Он приехал за сыном, второклассником, и поздоровался с ним как-то виновато, точно боялся проявить свои родительские чувства.

— Ну, здравствуй!.. Учишься?

— Учусь…

Сын своего отца, белокурый мальчик-крепыш, смущался не меньше отца.

— А я того… — бормотал дьячок, делая ненужный жест длинной корявой рукой. — Я в духовное правление… с отчетом… ну, значит, того… раньше приехал.

Он присел на один из сундуков и улыбался. Школяры окружили его живой стеной. Кто-то даже взлез ему на плечи. Вообще этот смущенный богатырь внес с собой струю деревенской воли и запах родных деревенских полей. Через полчаса он сидел за ученическим столом и учил петь по обиходу, а ему подтягивали полтора десятка молодых, свежих голосов.

После ужина наш гость принес целый мешок своих деревенских гостинцев — пшеничных кренделей и репы. Нашему

восторгу не было границ.

На следующее утро уже все училище знало, что к нам приехал дьячок, и все нам завидовали, а вечером кто-то нарочно прибегал из бурсы, чтобы посмотреть на настоящего деревенского дьячка. Наша общая радость была омрачена только печальным известием, которое привез с собой наш гость, — именно, что отец нашего Павла Иваныча Хвоста умер. Мальчик горько плакал, а мы не умели его утешить.

— Что же делать, в бурсу поступишь… — как-то виновато повторял дьячок. — И в бурсе люди живут.

Утешение было плохое.

II

Чистых радостей не существует, потому что под каждой радостью, прямо или косвенно, пряталось чье-нибудь страдание. Представьте себе самую простую картину: вы садитесь обедать. Вы работали целый день — значит, обед вами заработан, и вы, кажется, никого не обижаете тем, что утоляете свой голод. Но вот вы сели за стол, подано кушанье, и вы слышите где-то детский плач. Что такое? Кто плачет? Плачет голодный ребенок, который не ел несколько дней. А может быть, их несколько? Неужели вы не отдадите им своего обеда? Вы нисколько не виноваты, что эти дети голодны, и все-таки почувствуете себя как будто виноватым и не имеющим права на вкусный обед, когда рядом с вами стоит худенький ребенок и смотрит на ваш обед голодными глазами.

Так было и с нашей радостью по случаю первого отпуска на побывку домой. Да, мы, отцовские дети, ехали домой, нас ждали с нетерпением родные, мы предвкушали уже радость свидания, и тут же рядом оставалась несчастная, голодная бурса, которой решительно некуда было ехать. Мы, конечно, не были виноваты, что пользовались своим отпуском на праздники, но наша чистая по своему существу радость отравляла и без того не красную жизнь бездомного сироты-бурсака… Я это в первый раз почувствовал, когда случайно заглянул перед отъездом в бурсацкую «занятную», где сейчас мрачно затихла вся бурса. Из гордости бурса открыто не проявляла зависти, но чувствовались именно напускная холодность и деланное равнодушие. Тетеря догнал меня в коридоре и угрожающим тоном проговорил:

— Гостинцев привезешь?.. а? Привезешь? Смотри, всю рожу растворожу, зуб на зуб помножу…

Бедный Тетеря, мне было и жаль его и как-то совестно. Лучше бы уж он ударил меня…

Наша квартира превратилась в какой-то табор. Приехали подводы с трех уездов, большею частью — простые мужики, которые по пути привезли в город что-нибудь продавать, а в качестве обратной клади везли по домам поповичей. Татьяна Ивановна находилась в самом благодушном настроении, потому что получила к празднику кое-какие дары, главным образом — по части деревенской живности.

— С заводских-то немного получишь, — проворчала она по нашему адресу. — Хоть бы углей на самовар привезли…

— Ишь, старая корга,[4] чего захотела! — ругался Ермилыч. — Мы сами угли-то на наличные денежки покупаем… Нашла тоже: углей ей привези.

Приехавшие подводы уже не производили того впечатления, как появление первого дьячка. Весь запас восторгов был уже исчерпан, и мы начали привыкать к собственной радости. Деревенские мужики, в свою очередь, относились к нам, как к живой клади, вроде тех поросят и телят, которых они доставляли в город.

Да, все подводы были налицо, и не было только нашей подводы с Александром Иванычем, что повергло нас в молчаливое отчаяние. Наступала последняя ночь, а подводы нет как нет. Завтра утром все уедут, а мы останемся одни в пустой квартире. Эта мысль просто уничтожала… А вдруг наш возница замерз где-нибудь по дороге? Лошадь могла сломать ногу, могли по дороге напасть разбойники или волки, — все могло быть, и мы страшно мучились. Вечером мы прислушивались ко всякому шороху, и все напрасно. Измученный ожиданием, Александр Иваныч заявил:

— Этот дурак просто заблудился в городе и не может нас найти… Я пойду искать его по постоялым дворам. Некуда ему больше деваться…

Было темно. На улице трещал тридцатиградусный мороз. Но это нас не удержало. Мы побежали в Лягушку, как называлась улица, где были постоялые дворы, и сделали обход. Заблудившегося возницы нигде не оказалось, и мы вернулись домой в молчаливом отчаянии.

— Я этого дурака вот как вздую, — ругался Александр Иваныч, поднимаясь по лестнице в нашу квартиру.

А в нашей передней на каких-то узлах сидел сгорбленный, худенький мужик с козлиной бородкой и жевал корочку домашнего хлебца. Это и был наш желанный возница, имя и фамилию которого я помню до сих пор: Илья Бушин, из деревни Захаровой, от которой до Висима всего восемь верст.

На другой день утром мы получили от инспектора отпускные

свидетельства. Удивительно, как в два-три дня все сделались добрыми, решительно все, начиная с нашей хозяйки Татьяны Ивановны и кончая инспектором… Даже галки на крышах кричали как-то иначе, и дым из труб поднимался вверх не так, как вчера. Когда мы ехали по городским улицам, попадались всё удивительно добрые люди, которых раньше не приходилось видеть, а на хлебном рынке, где шел предпраздничный бойкий торг хлебом, овсом, рыбой и говядиной, такие добрые люди стояли густой толпой и от радости неистово галдели. Но всего лучше и совершеннее на свете были наша дорожная кошевка, бурая лошадь и возница Илья Бушин, составлявшие вместе как бы одно целое, лучше которого ничего решительно нельзя было придумать. Если в этот знаменательный день существовало в мире совершенство, то это совершенство называлось нашей кошевкой, которую тащила наша бурая лошадка и которой управлял наш Илья Бушин.

— Ужо надо ребятам гостинцу купить, — говорил Бушин, останавливаясь около ларька с кренделями.

Мороз стоял сильный, но мы его не чувствовали благодаря теплым шубам и одеялу из мохнатой киргизской овчины, а главное, конечно, благодаря своему настроению. Ведь такие счастливые минуты, как и всякое счастье, не повторяются…

Илья Бушин тоже, по-видимому, был совершенно счастлив и, оглядываясь на нас, все улыбался. Он был хотя и одет в шубу, но вся шея оставалась голой.

— Неужели тебе не холодно, Илья?

— Помилуйте, мы люди привычные… Приедем на станок и обогреемся.

— Понравилось тебе в городе? — спрашивал Александр Иваныч.

— Ничего, хорошо…

Обернувшись к нам и тряхнув шапкой, он прибавил:

— Только поговорка есть не совсем хорошая про город этот самый, будто в городе-то толсто звонят, да тонко едят…

Мы не могли не согласиться с такой поговоркой, которую испытали на себе.

Зимой Екатеринбург точно принаряжается и молодеет. Не было ни грязи, ни рытвин, — благодетель снежок покрыл все уличные недочеты. Наш верхотурский тракт проходил предместьем Мельковой, где дома делались все ниже и ниже, пока не превратились в жалкие лачуги, где ютилась городская бедность.

Когда город остался назади, Илья обернулся и с своей добродушной улыбкой проговорил:

— А ведь я города-то не видал совсем… В первый раз приехал, думаю, — все высмотрю, да вот с тем и уехал, с чем приехал.

— В другой раз посмотришь…

— И то, видно, придется в другой раз посмотреть. Надо побывать да каменные дома поглядеть. Наш-то Висим как есть весь деревянный…

Наша кошевка довольно бойко катилась по убитой ступеньками трактовой широкой дороге. По сторонам тянулся зеленой стеной сосновый бор, сохранившийся под самым городом благодаря недремавшему оку бывшего горного начальства, когда все было поставлено на военную ногу. Я невольно припоминал, как осенью тащился по этому тракту в телеге и напрасно старался решить вопрос о том будущем, которое меня ожидало. Теперь уже все определилось, а впереди — целых две недели счастья…

Как только наша кошевка выехала за город, Александр Иваныч с необыкновенною солидностью достал папиросу и закурил ее, улыбаясь собственной безнаказанности. Я смотрел на него и не мог в нем узнать того хихикавшего Александра Иваныча, который наслаждался мальчишеским зверством. Да, это был совершенно другой человек, как были совершенно другими и все другие, ехавшие сейчас к себе домой.

— Ах, хорошо!.. — говорил Александр Иваныч, делая жестокую бурсацкую затяжку и закрывая от наслаждения глаза.

III

Есть неизъяснимая прелесть в простой русской гужевой езде, несмотря на все присущие ей недостатки, особенно по сравнению с паровыми путями сообщения. Неудобства как-то забываются, а остаются воспоминания лучшие об этих длинных упряжках, кормежках по постоялым дворам и целом ряде специально трактовых типичных людей, которые работают здесь свою тяжелую работу и зиму и лето. Я лично особенно люблю зимние поездки в открытой сибирской кошевке, только не по открытым степным местам, а горами и лесом, где картины чередуются одна за другой, как в панораме.

По верхотурскому тракту нам пришлось ехать сравнительно недолго, и после двух кормежек мы свернули с него влево, чтобы проехать «прямой дорогой» озерами. Путь сокращался верст на шестьдесят. Эта глухая лесная дорога, существующая только зимой, необыкновенно красива. Кругом — саженный снег, ели стоят, окутанные белым, снежным саваном, единственный

признак жизни — бесконечное кружево заячьих следов, изредка пересекаемых глубокой волчьей тропой. Волчья стая бежит солдатским шагом, нога в ногу. В таком лесу зимой какая-то особенно торжественная тишина, как в пустой церкви. Дремучие ельники сменяются сквозными лиственными перелесками, через которые брезжит синеющая даль. И хорошо, и жутко, и хочется ехать по этой лесной пустыне без конца, отдаваясь специально дорожным думам.

Прямая дорога озерами проходит самыми глухими местами, где летом ни прохода, ни проезда, потому что на сотню верст разлеглись ржавое болото, озера и лес. Единственное селение на нашем пути был Таватуй, на крутом берегу озера того же имени. Это было настоящее раскольничье гнездо, забравшееся в неприступную глушь. Мы приехали в Таватуй уже ночью и перед самым селеньем встретили волчью стаю, пересекавшую озеро шеренгой.

— Вот как, милые, лопочут, — похвалил Илья. — Это они к палой лошади бегут, которую мы видели отсюда верстах в трех. Учуяли…

Было еще часа два утра, но в некоторых избах уже светились приветливые огоньки. Это бабы-раскольницы топили печи для раннего рабочего завтрака. Все раскольники живут туго, и народ всё работящий, а бабы на отбор хозяйки. Попасть на ночлег было не легко. Наша кошевка останавливалась перед избой, Илья слезал с козел, стучал осторожно в волоковое окно и «молитвовался»:

— Господи, Иисусе Христе, помилуй нас!..

В окне показывалось женское лицо, и слышался голос:

— Аминь. Кто крещеный?

— А мы с Висиму, заводские… Из городу едем.

— Поезжайте дальше.

Мы напрасно «молитвовались» изб у пяти, пока нас не пустили в шестую, и то, вероятно, потому, что Илья сказал:

— Не замерзать же нам на улице… Есть ли на вас крест-то!

Раскольничий двор в лесных глухих местностях представляет из себя маленькую деревянную крепость и сверху наглухо закрыт тесовой крышей. В таком дворе и днем темно, пока не привыкнет глаз. Избы у зажиточных мужиков делятся теплыми сенями на две половины: передняя — жилая, а задняя — на всякий случай. Зимой заднюю избу редко топят. Мы попали в переднюю и сразу были охвачены благодетельным теплом. Нас встретила довольно неприветливо суровая старуха в кубовом сарафане.

— Эх, чайку бы напиться, — шепнул мне Александр Иваныч, разминая окоченевшие от сидения и мороза ноги. — Только здесь

какой самовар… Раскольники чаю не пьют.

Машинально, охваченный еще не остывшим чувством свободы и безнаказанности, он хотел раскурить папиросу, но пришлось бросить…

— Да ты где? — ворчала старуха. — Образа в избе, а ты, проклятый, табачище закурить хотел…

— Ну, я во дворе покурю…

— Двор спалишь!..

Папироса испортила все дело, и старая раскольница смотрела на нас, как на погибших окончательно людей, которые в таких молодых летах, а уж попали прямо в лапы антихриста.

Следующая очередь оказалась за мной. Мне захотелось пить. Около печки стояла крашеная кадочка с водой, а на стенке висел ковш. Я подошел, взял ковш и хотел зачерпнуть воды, но старуха налетела на меня, как ястреб, выхватила ковш из моих рук и даже замахнулась им на меня.

— Да ты в уме ли, табачник?! — кричала она, размахивая ковшом. — Испоганил бы посудину…

У раскольников считается грехом, если кто напьется из чужой посуды, и на случай необходимости держится уже «обмирщившаяся» посудина, то есть из которой пил кто-нибудь посторонний. Старуха сунула мне какую-то деревянную чашку и сама налила в нее воды, чтобы я не черпнул ею прямо из кадочки.

— Вот так угощенье, — ворчал Александр Иваныч, залезая на полати, где было жарко, как в бане. — Это называется: пожалуйте через забор шляпой щей хлебать.

В тепле мы, конечно, заснули как убитые, и тем тяжелее было пробуждение, когда Илья пришел и сказал нам, что лошадь запряжена и он уж вынес вещи в кошевку.

— Снежок падает, — сообщил он. — Ужо оттеплеет к обеду…

Все-таки, хотя и сделалось значительно теплее, выходить из тепла на холод было крайне неприятно, да и спать хотелось до смерти.

Мы выехали, когда невидимое солнце, точно заслоненное от нас матовым живым стеклом из падавшего снега, уже поднялось. Отдохнувшая лошаденка бежала бодро. Раскуривая папиросу, Александр Иваныч рассказал, какую штуку он устроил проклятой старухе.

— Не пожалел трех папирос и раскрошил их по всем полатям… Пусть старуха почихает. Жаль, что не было с собой нюхательного табаку.

Эта школьническая выходка рассмешила Илью до слез, и он, вытирая глаза кулаком, спрашивал в десятый раз:

— Так старуха начихается досыта?.. Ну, и ловко… ха-ха!..

Погода изменилась согласно предсказанию Ильи, и мы остальной путь сделали в свое удовольствие. В Черноисточинском заводе мне пришлось расстаться с Александром Иванычем, которому нужно было ехать в Тагил.

Теперь оставалась уже знакомая и самая красивая часть дороги, по которой я проезжал десятки раз. Начинался горный перевал, кругом обступали знакомые зеленые горы, на каждом повороте открывался новый вид. Когда мы подъезжали к деревне Захаровой, наша лошадка сделала попытку повернуть домой.

— Ах, лукавый живот! — возмущался Илья, подхлестывая лошадь кнутиком. — Ведь всего-то восемь верстов осталось. Тоже знает, где ее сеном кормят… Ах, лукавый животище.

Через час езды показался и родной Висим, засыпанный глубоким снегом, из-под которого горбились одни крыши. У меня замерло сердце от радости… Наш дом тоже стоял совсем в снегу. Перед ним высились две горы снега, которые вырастали каждую зиму при очистке проезда в ворота.

Все были дома, как всегда. Общую семейную радость трудно описать, точно я вернулся с Северного полюса. Через полчаса вся семья уже сидела за самоваром, и отец, улыбаясь, говорил:

— Ну что, отведал бурсацкой науки?

Дорогой мысль о бурсе как-то замерла, заметенная дорожными впечатлениями, а тут я опять вспомнил о бедных бурсаках-сиротах, которым некуда было ехать, и чуть не расплакался. Бедные, милые бурсачки, как-то вы будете встречать рождество!..

БОЛЕЗНЬ

I

Этой главой мне приходится закончить свои воспоминания о первом школьном периоде, когда окончательно завершился полный выпад из семьи и когда я сделался окончательно отрезанным ломтем.

Наступал конец второго учебного года, а с ним и конец учения в духовном училище, о чем все мы, выпускные, мечтали, как об освобождении из чистилища. Последней гранью этого периода являлась пасха. Все как-то привыкли думать, что после пасхи начнется что-то особенное, решающее всю жизнь, а поэтому все волновались вперед. Я припомнил слова, которые мой отец любил повторять:

— Только, брат, выцарапаться как-нибудь из училища, а в

семинарии будет уже совсем другое…

Что будет *«другое»*, — отец не договаривал, а для меня было ясно, как день, что это «другое» — вещь самая хорошая, своего рода золотой век.

На пасху из Екатеринбурга я уезжал на целых две недели в Горный Щит к дедушке, и это одно уже составляло целое событие. Мои заводские однокашники, как Ермилыч и Александр Иваныч, должны были провести это время в квартире, потому что в весеннюю распутицу нечего было и думать о поездке домой. Охваченный радостью провести две недели в домашней обстановке, я с эгоизмом всех счастливых людей совершенно как-то забыл о своих приятелях и отнесся к их положению равнодушно, точно это так и должно было быть. Все дети, с одной стороны, ужасные эгоисты, а с другой стороны — слишком поддаются всякому новому впечатлению. Одним словом, я уехал из города с легким сердцем, за что и понес соответствующее возмездие. Отправившись на хлебный рынок, я разыскал какого-то горнощитского мужика, который не только взялся меня довезти, но даже отправил одного на своей лошади. Это уже было слишком хорошо: совершенно один, и в моем бесконтрольном распоряжении настоящая живая лошадь, настоящая деревенская телега, а в телеге — мешок с ржаной мукой.

Выехал я из Екатеринбурга настоящим героем, даже немного больше — человеком, которому доверили настоящую живую лошадь, телегу и два пуда муки. Это что-нибудь значит!.. Скверно было только то, что дорога никуда не годилась, особенно при выезде из города, где телега почти плыла по сплошной грязи. Крестьянская лошадка в некоторых пунктах останавливалась с видимым недоумением, как ей быть в данном случае, — мы, собственно, не ехали, а плыли. Единственная надежда оставалась на то, что когда-нибудь да выедем из благоустроенной городской улицы и будем в поле, где, как на всех проселках в распутицу, по дороге никто не ездит, а пользуется объездами. Я благополучно миновал салотопенные заимки, распространявшие ужаснейшее зловоние чуть не на версту, проехал чудный сосновый бор и начал спускаться широкой луговиной к безыменной речонке, существовавшей только в распутицу специально для неприятностей доверчивым путешественникам. Когда я подъехал к этой речонке, моста не оказалось. Пришлось ехать в «цело»,[5] по колесным следам счастливых предшественников. Моя лошадка бодро спустилась в грязь, увязла по колена и остановилась. Телега завязла в грязь выше ступицы колес. Судорожные усилия лошади вытащить телегу привели только к тому, что моя телега разделилась на две части, — передок с лошадью уехал вперед, а

собственно телега осталась в грязи, ткнувшись передней грядкой[6] прямо в грязь. Переломился железный курок… Это было похуже кораблекрушения… Я как-то совершенно растерялся, тем более что по дороге никого не было видно, а сам я ничего не мог поделать, даже уйти пешком. Пришлось просидеть среди грязи часов пять, пока уже в сумерки наехал возвращавшийся из города горношитский мужичок. Он остановился, осмотрел сломанный курок, покачал головой и проговорил:

— Плохо твое дело, парнюга… Ишь ты, точно зубом перекусило курок.

Потом он начал бранить и дорогу, и сломанный мост, и мастера, который делал курок, и так вообще глупых людей, которые таскаются по таким проклятым проселкам. Кончилось все тем, что он вырубил молодую елку и сделал деревянный курок.

— Да ведь он сломается на первой версте, — заметил я в отчаянии.

— И даже очень просто, — согласился мужичок. — Уж ежели железный курок не вытерпел, так где же деревянному удержаться… А может, и доедешь… Случается…

Телега была поставлена на передки, деревянный курок вставлен на свое место, и мужичок, пожелав мне благополучного пути, уехал.

— Сегодня у нас баня, тороплюсь домой, — объяснил он. — А ты полегоньку, парнюга, по потным-то местам…

Надвигались уже холодные весенние сумерки, и я рисковал заночевать где-нибудь в «потном месте», то есть в ложке или болоте. Вообще приятного впереди было мало, и я трепетал за каждый шаг вперед, особенно когда приходилось спускаться мимо деревни Елисавет к речке Патрушихе. Было уже темно настолько, что трудно было рассмотреть что-нибудь в десяти шагах, и я предоставил свою судьбу инстинкту своей милой лошадки, которая знала дорогу, конечно, лучше меня. У меня, впрочем, оставался еще расчет на «обратных» горнощитских мужиков, которые могли меня догнать, но, как на грех, ни одна телега меня не догнала. Моя лошадь шла осторожно, нога за ногу, в сомнительных местах останавливалась, фыркала и выбирала то направление, которое ей казалось более удобным.

Ровно в полночь моя телега остановилась у дедушкина домика. Деревянный курок оказался выносливее железного.

— Эх, Митус, а баню-то ты прозевал, — жалел меня дедушка Семен Степаныч.

После пережитых волнений мне, конечно, было не до бани. Я, как говорится, был рад месту…

Две недели отдыха, как всякие каникулы, промелькнули с предательской быстротой. Моя прабабушка Феофила Александровна перед каждым праздником приходила в отчаяние по поводу несовершенства и слабостей рода человеческого, а перед пасхой в особенности, — Горный Щит оказывался самым скверным уголком на всей нашей планете. Со свойственным молодости легкомыслием я не доверял этому старушечьему отчаянию и даже спорил со старушкой, защищая нравственность горнощитских обывателей, но потом мне приходилось убедиться в справедливости Феофилы Александровны.

Дело было так. Как известно, на пасхе и долго после пасхи духовенство обходит весь приход с иконами. Мой отец никогда не позволял мне провожать его в этом случае, но в Горном Щите я с детьми о. Вениамина отправился по приходу с иконами. То, что пришлось мне увидеть, привело меня почти в отчаяние. Почти все село, за редкими исключениями, поголовно было пьяно. Эти красные, пьяные лица, воспаленные глаза, пьяное, бессвязное бормотанье, когда духовенство переходило из одной избы в другую, оставили во мне тяжелое чувство… Дедушка увидал меня в толпе провожавших иконы, подозвал к себе и, погрозив пальцем, строго сказал:

— Ступай домой, Митус… Тебе тут нечего делать.

II

Пасха пролетела быстро. Я начал уже готовиться к выпускным экзаменам и отчаянно зубрил греческие и латинские слова.

— Что, брат, трусишь? — подшучивал надо мной дедушка…

— Трушу…

В город я вернулся в самом ожесточенном настроении, то есть решил зубрить до потери сознания. Прабабушка снабдила меня, конечно, «подорожниками», то есть разными произведениями своего кулинарного искусства, но на этот раз они меня не интересовали, и я роздал их почти целиком оставшимся в квартире приятелям. Вообще я чувствовал себя как-то не по себе, разнемогся, как говорят деревенские старухи. А когда начались занятия в училище, я окончательно расхворался. Инспектор осмотрел мой язык, сосчитал пульс, ощупал лоб и только покачал головой.

— Можешь оставаться дома, — решил он. — А там увидим…

При училище была небольшая больничка, но инспектор почему-то не отправил меня туда, — вероятно, потому, что там не было свободного места. Дома, то есть у себя на квартире, мне

пришлось лежать в большой комнате, на простой деревянной скамейке с деревянной решетчатой спинкой. Время до обеда проходило в полном одиночестве, когда некому было подать воды, а сейчас после обеда начинался настоящий ад. Кричали, пели, дрались и отчаянно зубрили вслух. Последнее было всего хуже, потому что я про себя повторял все слова и фразы, которыми был насыщен самый воздух. Мне иногда начинало казаться, что я вижу эти слова в форме каких-то букашек, закорючек и фантастических фигур, осаждавших меня, как овод в летний жар.

В болезнях есть что-то таинственное, начиная с их зарождения. Откуда они приходят? Наш ум привык объяснять все разумными причинами, наконец, — известной целью, а тут является что-то бессмысленное, подавляющее и, главное, неопровержимо доказывающее бренность человеческого существования. Был человек, — и вдруг его нет… При болезнях страдает не одно тело, а, главным образом, душа, и нет такого инструмента, каким можно было бы измерить, взвесить и сосчитать эти душевные муки. Это с одной стороны; а с другой — именно в болезнях коренятся глубокие основания душевных перемен. Есть своя философия болезней, до сих пор еще не изученная и не написанная. Сплошь и рядом болезнь является роковой гранью, которая разделяет нашу жизнь на периоды, причем человек до болезни и человек после болезни являются совершенно разными людьми, чего не хотят замечать по психической близорукости. Иногда болезнью завершается благодатный переворот к лучшему, а иногда наоборот…

Воспоминания об этой болезни у меня сохранились с особенной отчетливостью, точно все происходило только вчера. Мои товарищи по квартире отнеслись к моему положению почти безучастно и не обращали на меня внимания, точно я уже не существовал на свете. Все дети страшные эгоисты, и, вероятно, я сам отнесся бы таким же образом к другому больному. Внимательнее других оказался Ермилыч, который иногда подходил ко мне и повторял одну и ту же фразу:

— А ты поел бы…

Вечно голодные мальчики не могли никак себе представить, что человек может не хотеть есть. От Ермилыча я, между прочим, узнал, что у меня «горячка», как в те времена назывались все тифы, и что я могу умереть. Последним обстоятельством особенно огорчалась добрейшая Татьяна Ивановна, потому что это бросало некоторую тень на ее квартиру.

— Уж, кажется, я ли не старалась… — охала она, прикладывая по-старушечьи руку к щеке. — И с чего бы, кажется,

быть горячке… Вон все другие здоровы, слава богу.

Жизнь Татьяны Ивановны точно была соткана из разных примет, вещих снов и вечного страха перед какой-то неизвестной бедой, которая вот-вот разразится над ее головой. Моя болезнь была отнесена к числу дурных предзнаменований.

— Ведь только что приехал из Горного Щита, — жаловалась она. — Там бы, у дедушки, и хворал… А то нет, слег здесь. Ох, вот беда-то прикачнулась.

Самым внимательным человеком по отношению ко мне оказался наш инспектор, навещавший меня почти каждый день. Он же и лечил меня гомеопатическими крупинками, как лечил ими своих прихожан и мой отец. Я верил в крупинки на последнем основании и был рад, когда приходил инспектор и заставлял меня показывать язык, считал пульс и т. д. У постели больного это был совсем другой человек, ничего общего не имевший с тем, который наводил трепет даже на отчаянную бурсу. Я слышал его тяжелые шаги, когда он поднимался по лестнице, и знал вперед, что он войдет в шляпе в мою комнату, понюхает воздух, сморщится и скажет подобострастно сопровождавшей его Татьяне Ивановне:

— Что это у вас, матушка, воздух-то какой… Хоть топор вешай. Покурили бы чем-нибудь, что ли…

— Уж, кажется, стараюсь, господин инспектор, — обиженно отвечала старушка. — Даже в другой раз и ночью не спишь, а все думаешь, как бы лучше… Да и то сказать, ведь шестнадцать человек, какой уж тут воздух.

Следовало, конечно, известить о моей болезни дедушку, но этого не сделали, чтобы напрасно не тревожить старика, — все равно он не мог приехать, потому что должен был обходить весь приход с иконами.

Я отлично помню мучившие меня горячечные галлюцинации. Мне представлялось необозримое пространство, матово-белое, как полированная слоновая кость, и на этом поле появились какие-то лохмотья, которые я напрасно старался удалить, чтобы сохранилась сверкавшая белизна общего фона. Это было самое мучительное состояние, и я чувствовал, как начинаю задыхаться, подавленный собственным бессилием. Затем мне казалось, что я все еду, еду по скверной проселочной дороге, как ехал на пасху, а цель путешествия отодвигалась все дальше и дальше. В каком-то радужном тумане, как в камер-обскуре, выступали знакомые силуэты родных зеленых гор, мелькали дорогие лица и разные предметы домашней обстановки, которые казались живыми. Меня охватывала страстная тоска, и я напрасно рвался к зеленым горам, где так легко дышалось, — дорога казалась тоже живой и

не пускала вперед, а даль заслонялась мучительно белой и блестящей поверхностью. Еще больше мучили галлюцинации слуха: кругом меня все зубрило, отчаянно, упорно, озлобленно… Где-то вдали прорывались родные голоса, гудел медный колокольный звон и глухо и торжественно шумел родной зеленый лес. Впечатления настоящего и прошлого переплетались в мучительно пеструю амальгаму, точно какая-то неведомая рука подводила итог всему пережитому. Происходил мучительный душевный перелом, завершавший раннее детство.

В светлые промежутки, когда являлось сознание действительности, все мысли, конечно, летели домой, в родной Висим. Я видел опять отца и мать, всю обстановку родного гнезда и с особенной яркостью сознавал, что я — отрезанный ломоть навсегда и что возврата нет и не может быть… Оставалось идти вперед.

Странно, что окружавшая обстановка почти не действовала на меня, несмотря на ученый ад. Настоящее точно уплывало из сознания, и окружавшие меня шум и гам незаметно сливались с внутренним пожаром.

Последние дни перед кризисом прошли в каком-то тумане, а когда я проснулся от своего забытья, передо мной стоял инспектор и ласково говорил:

— Ну, теперь слава богу… Теперь долго проживешь.

У дверей стояла Татьяна Ивановна и вытирала слезы концом своего рабочего передника.

КАЗНЬ ФОРТУНКИ
Рассказ

I

Как это было давно и как я отчетливо вижу, сквозь мутную полосу десятков лет, это воскресное роковое утро, заливавшее ярким солнечным светом нашу ученическую комнату!

Нужно идти в церковь к обедне, и все чистятся, вынимают лучшее свое платье, причесываются и вообще принимают соответствующий празднику вид. Мой приятель Ермилыч с особенно торжественным видом открывает крышку своего заветного сундука, наклоняется над ним, чтобы достать что-то, — и в ужасе поднимает свое помертвевшее, бледное лицо. Что-то случилось, ужасное и непоправимое, что и меня заставляет невольно содрогнуться, потому что я знаю спокойный, выдержанный характер Ермилыча и знаю, что он из-за пустяков

не побледнеет.

— Ермилыч, голубчик, что такое случилось?

Ко мне повертывается это бледное лицо, покрытое мелкими веснушками, серые глаза смотрят непонимающим, пустым взглядом, а искривленные конвульсией губы шепчут только одно слово:

— Сапоги…

Я наклоняюсь к сундуку Ермилыча и тоже проникаюсь ужасом. Нужно сказать, что этот сундук представляет собой некоторое художественное целое благодаря царившему в нем порядку. Ермилыч был бедняк, и сундук для него являлся величайшим сокровищем. В нем были разложены в истинно художественном порядке все пожитки Ермилыча: белье, праздничный сюртучок, книги, тетрадки, коробочки с разными редкостями, таинственные свертки и опять коробочки, в которые домовитая бедность укладывала разный хлам. Самое видное место занимали в сундуке Ермилыча новенькие смазные сапоги — его гордость и слабость. Это были первые сапоги, которые Ермилыч мог чистить ваксой, примеривал, сдувал с них каждую пылинку, обтирал платком и надевал только по праздникам. Чтобы купить их, он целый год сколачивал деньги по копейкам и грошам, отказывая себе решительно во всем. Когда Ермилыч доставал их из своего сундука, его лицо светлело и делалось таким добрым. И вдруг… Нет, есть вещи, для описания которых просто недостает подходящих слов, как и в данном случае. Прошло больше тридцати лет, а я и сейчас отчетливо помню, как мне сделалось страшно: сапоги Ермилыча были налиты водой…

— Это устроил Фортунка! — невольно вырвалось у меня.

Ермилыч молчаливым движением подтвердил мое предположение. Конечно, Фортунка, и никто больше.

Нужно сказать, что наш старший по квартире, Введенский, имел две школьных клички, одна для обыкновенного обихода — Просвирня, а другая в исключительных случаях — Фортунка. Последняя кличка носила собирательный характер и давалась почему-то толстым и пухлым мальчикам, каким был и наш Введенский.

Когда квартира узнала историю с сапогами, то для всех сделалось ясно, что дни Фортунки сочтены, и все смотрели на него, как на человека обреченного. Хихикал и потирал руки один Александр Иваныч, раньше покровительствовавший ему. Самые маленькие школяры понимали, что Ермилыч будет мстить и что Фортунке несдобровать. Сознавал это и сам Фортунка, чувствовавший, что зарвался и что лихая шутка не пройдет ему даром. Одним словом, произошло целое событие, взволновавшее

до дна наш маленький мирок. Все шептались по углам и с сожалением поглядывали на Фортунку, прикрывавшего свою трусость самым беспечным видом. Он даже отдувал свои жирные, мясистые щеки и вытягивал красные губы, как человек хорошо пообедавший.

— Ермилыч, ведь ты будешь ему мстить? — спрашивал я.

Ермилыч только улыбался своей больной улыбкой. В его характере была мстительная жилка. Иногда он выжидал целых полгода, чтобы расквитаться с врагом, и, подкараулив удобный случай, производил безжалостную расправу. Лично я очень любил Ермилыча как хорошего товарища. Нас связывало и землячество, и сидение в одном классе, и та дополняющая разница характеров, которая служит основой школьной дружбы. Бывали, конечно, и недоразумения, тоже школьного характера. Один случай меня даже озадачил, и я никак не мог его понять. У меня был такой же сундук, как и у Ермилыча, и я, по его примеру, вел в нем строгий порядок, хотя и не мог достигнуть желанного совершенства. Между прочим, была у меня коробочка с разной дрянью: пуговицы, перья, карандаши, какие-то обломки и т. д. Сказывалось недавнее детство, утилизировавшее этот материал для своих детских целей. Сейчас этот хлам оставался только по традиции. Раз я разбирал эти сокровища на столе, а Ермилыч смотрел в качестве почтеннейшей публики.

— Вот посмотри, какая пуговица: золотая с орлом…

Не успел я похвастаться, как Ермилыч самым бессовестным образом отнял ее у меня.

— Калю! — заявил он с самым решительным видом.

«Калю» это было своего рода школьное «табу», лозунг царившего права сильного. Как я ни уговаривал Ермилыча, какие трогательные мотивы ни представлял ему, как ни объяснял, что чужие пуговицы отнимать гнусно, он точно окаменел, охваченный какой-то птичьей жадностью. Оставалось или вступить в отчаянную драку, или порвать цепь дружбы, но я предпочел уступить пуговицу, хотя в душе и затаил неприятное чувство. Меня огорчало до глубины души, что это сделал именно Ермилыч, хороший человек и друг. И все из-за какой-то гадкой пуговицы… Сделай это Фортунка, — ничего в этом особенного не было бы. Все-таки ничтожный сам по себе случай из детской жизни оставил в душе свой след, поселив известного рода недоверие и скрытность. Уж если Ермилыч мог увлечься ничтожной пуговицей до того, что пустился из-за нее на открытый грабеж, то чего же ожидать от других?

Я уже сказал, что в нашей квартире царил самый просвещенный деспотизм, и о праве собственности, а также о

праве личной неприкосновенности существовали самые смутные понятия. Особенно неистовствовал в этом случае Фортунка, как вице-деспот, находившийся под непосредственным покровительством Александра Иваныча. В миниатюре наша квартира представляла целое государство с своими традициями, заветами предков и жестокостью диктатора. Школяры-малолетки являлись бесправной массой, ученики старшего класса — привилегированным сословием. Прославленное золотое детство отличается бессознательной жестокостью, — я говорю о мальчиках.

II

Вся наша квартира с нетерпением ожидала развязки нанесенного Ермилычу оскорбления. Меня этот вопрос особенно касался, потому что для меня Ермилыч был слишком близкий, почти родной человек. Положим, что сапоги давно высохли, были вычищены ваксой десятки раз и заняли свое место в сундуке, но это не мешало оставаться оскорблению в прежней силе.

— Что ты сделаешь с Фортункой? — спрашивал я друга.

Ермилыч сначала скромно отмалчивался, а потом показал тяжелую свинцовую гирьку, обшитую кожей, — это и было орудие казни.

— Да ведь такой гирькой можно и убить, Ермилыч?

— По какому месту бить…

У Ермилыча делалось каждый раз нехорошее лицо, когда он заговаривал о возмездии. Мне вперед делалось страшно за Фортунку.

— Вот будет рекреация, так тогда… — таинственно сообщил Ермилыч, любуясь своей гирькой, у которой делались разные усовершенствования, как тонкая бечевка, наматывавшаяся на руку.

Стоял конец мая, и погода была прекрасная. Все зеленело и цвело, наполняя душу какой-то особенной молодой радостью. И в то же время близились страшные экзамены с роковой быстротой. У меня навсегда сохранился какой-то панический страх к экзаменам, доходивший до того, что я уже студентом упал на экзамене в обморок. Из всех лотерей экзамены самые рискованные, и я с сожалением смотрю каждой весной на молодежь, которая должна выносить это испытание. Я уже сказал, что погода стояла отличная. Один день шел за другим, как праздники. Сидеть в такие дни в классе было настоящей пыткой. Даже наш суровый инспектор не выдерживал и раз пошутил. Да,

пошутил, повергнув весь класс в полное недоумение. Как теперь помню, шел класс латинского языка, самый страшный изо всех, потому что он главным образом доставлял жертвы субботних экзекуций. Сторож поляк Палька только потирал руки, предвкушая удовольствие производить «великолепнейшие порки». Итак, шел класс латинского языка. Все замерли. Слышно, как муха пролетит, в буквальном смысле слова. Окна отворены, и в них смешанной струей врываются звуки колоколов соседнего женского монастыря, крики уличных разносчиков, дребезжание проезжающих экипажей и вообще уличный шум. Инспектор сидит, согнувшись, в кресле и, по своей привычке, кусает ногти большой холеной белой руки. Перед ним, вытянувшись в струнку, стоят Александр Иваныч и еще несколько учеников.

— Ну? — лениво протягивает инспектор. — Sat, satis, abunde, affatim?[7]

— Довольно, достаточно… — залпом выстреливает Александр Иваныч вызубренный урок.

— Нет… Ну, ты, рядом стоящий? Sat, satis, abunde, affatim?

— Довольно, достаточно…

— Эх, вы, и этого не знаете! Sat, satis, abunde, affatim значит: «Сядем-ка, сват, да по рюмочке хватим»…

Весь класс замер от изумления, а потом разразился таким весельем, что, кажется, смеялись самые стены. На другое утро, когда все собрались, волнение продолжалось.

— Надо просить рекреацию!

Выбрана была депутация из лучших учеников, в том числе был и Фортунка. Они заранее приготовили установленное прошение на латинском языке и отправились на квартиру к ректору, находившуюся тут же на дворе. Все училище замерло в ожидании: что-то будет… Все окна, выходившие на двор, были облеплены любопытными школьническими лицами. Наконец, после томительной четверти часа на крылечке ректорского флигеля показалась депутация.

— Рекреация! Рекреация!.. — пронеслось по всему училищу.

Бывают минуты, которые не повторяются в жизни, и именно теперь была такая минута. Двести школьников, измученных тяжелой годовой работой, потеряли голову от радости. Что-то происходило до того невероятное, радостное, хорошее, чудное, как радужный, молодой сон. А впереди — целый день, счастливый, единственный день.

Утро было в самом начале, а там до самого вечера в лесу, на открытом воздухе, — нет, такие минуты не повторяются. Дальше все идет в каком-то тумане. Все заведение охвачено неописуемым волнением. Знаменитая инспекторская лошадь запряжена в

простую телегу, а злодей Палька нагружает эту телегу какими-то таинственными белыми ящиками, которые приносят из соседней пряничной два сторожа. Потом укладываются самовары и целая походная кухня. Милый Палька… Ему сейчас отпускаются все его невольные прегрешения и даже роковые «субботы». Лошадь с телегой и Палькой отправляются вперед, в ту неведомую, счастливую даль, которая грезится нам в каком-то радужном сиянии. Потом мы все выстраиваемся попарно в длинную шеренгу под предводительством старших. Порядок образцовый. Никому и в голову не приходит нарушить его. Господи! да ведь такой день один, один, один!.. Для меня это еще первая рекреация, и воображение рисует что-то необыкновенное, сказочное, невозможное. Каждый чувствует, что он — органическая кровная часть вот этого громадного целого, и как дороги все эти товарищи по классу, по училищу, по общей учебной каторге. В каком-то тумане наша шеренга марширует по деревянным тротуарам пыльной городской улицы, вызывая зависть всех прохожих. Да, все останавливаются, провожают нас глазами и улыбаются, зараженные нашей радостью. Чиновники, плетущиеся на свою службу, знают, что значит этот молодой поход, и вспоминают свое время; мещане, старушки с лотками, извозчики — все знают и все сочувствуют в душе. Нужно же бедным школярам передохнуть хоть один денек… Вот и предместье, всегда грязное, даже в самую хорошую погоду; вот и городской выгон, и сосновый лесок, и река, и ряд заимок на ней. С трактовой дороги мы сворачиваем влево, переходим по какому-то деревянному мосту через реку и точно приступом берем первую лесистую горку. Как хорошо здесь: сколько света, воздуха, зелени, красок, и все это наше на целый день, которому не будет конца! Ведь перед нами не день, а целая вечность!.. Благословенный, счастливый день! В припадке нежности мы беремся с Ермилычем за руки и так идем всю дорогу, точно боимся, что который-нибудь от радости вспорхнет и улетит. В задних рядах кто-то затянул популярную в нашем училище старинную песню, которую, вероятно, певали еще наши отцы, путешествуя на рекреации:

«Быстры, как волны, дни нашей жизни, что час, то короче к могиле наш путь…»

В общем хоре выделялся и молодой, с петушиными перехватами, басок Александра Иваныча, и заливистый тенорок Фортунки, и немного надтреснутый голосок слабогрудого Ермилыча, — это была одна оркестровая нота, поднимавшая всех от земли. Дорога шла по левому высокому берегу реки Исети, путаясь в сосновом бору. Душный и пыльный Екатеринбург остался назади, а впереди уже начинались так называемые

«заимки», то есть громадные дачи с разными промышленными заведениями, как салотопни, мыловарни, кожевни. Верстах в пяти от города левый берег выступал в реку красивым лесистым мыском с большой зеленой каймой поемного луга: это и было место нашей рекреации. Издали мелькнул большой костер, разложенный Палькой, а около него уже выросла целая ставка: наша училищная кухня, потом палатка приехавшего из города мелочного торговца, потом столики торговок кислыми щами, калачами и разной другой дрянью, на которую так падки дети. Одним словом, нас ожидало полное великолепие.

— Форменно, — заявил Ермилыч тоном специалиста, издали разглядывая и место, выбранное под рекреацию, и сделанные для нее приготовления.

Скоро весь мысок запестрел детьми, как муравейник, а в лесу гулко отдавались звонкие, молодые голоса. Экзекутор Палька с отечески добродушным видом возился около огня, точно никогда не брал в руки ужасной лозы. Его обступили со всех сторон, дергали за казенную шинель и вообще надоедали самым добросовестным образом, как это умеют делать только одни дети.

— А ну вас! — ворчал Палька, отмахиваясь обеими руками. — Ужо скажу инспектору.

Скоро приехал и сам грозный инспектор в сопровождении нескольких учителей: учитель греческого языка Николай Александрович, учитель русского языка Григорий Александрович, учитель географии и истории Константин Михайлович. Первые двое были еще совсем молодые люди, цветущие и веселые, а третий такой болезненный и чахоточный субъект. Они приехали на двух извозчиках, занявших своими экипажами задний план нашего гулянья, что дополняло походную декорацию.

— Здравствуйте, господа! — весело здоровался инспектор. — Ну, сегодня мы будем веселиться напропалую…

О, это был совсем другой человек, какого мы совсем не знали! Неужели он, вот этот самый инспектор, мог устраивать свои «субботы»?.. Нет, все это один блаженный, счастливый сон, какие видишь только в ранней юности. Учителей мы любили, хотя они и донимали нас подчас, как самый веселый учитель греческого языка.

III

Описать рекреацию во всех подробностях довольно трудно, потому что целый летний день прошел в удовольствиях: дети играли, пели, лакомились и опять играли. Тут был и мяч, и

свайка, и городки, и борьба, и беганье взапуски, и «куча мала», и хоровое пение. Инспектор принимал сам участие в игре в мяч, и это представляло собой трогательную картину. Шло соревнование по классам, отделениям, по квартирам, причем наша квартира благодаря Александру Иванычу, Фортунке и Ермилычу заняла по части физических упражнений не последнее место. Особенно веселился учитель греческого языка, очень ловкий и здоровый господин. Он же составлял и ученический хор. Одним словом, с одной стороны, были дети, настоящие дети, сбросившие с себя свою школьную озлобленность и жестокость, а с другой — взрослые люди, очень гуманные, простые и внимательные к детскому веселью.

Инспектор устал раньше других и лежал на траве. Около него сидел наш квартирант Ваня, любимец всех учителей за свою кротость, хорошие способности и детскую красоту.

— Ну, спой что-нибудь, Ваня, — ласково говорил инспектор. — А то давай вместе споем.

Сначала мальчик стеснялся, а потом тоненьким детским дискантиком спел «Звездочку»:

Звездочка ясная в небе горит,
Душу, прекрасная, в небо манит…

Помню и эту детскую песенку, и детский, чистый голосок, и это хорошенькое, чистое детское личико с такими светлыми, ясными глазами, подернутыми влажной детской синевой: в них еще не остыла теплота раннего детства. Ровно через год Ваня умер у нас на квартире от тифа, умер на том самом диванчике, на котором вылежал я свои шесть недель.

Самый торжественный момент наступил, когда были раскупорены таинственные белые ящики, и в толпу полетели пригоршни дешевых пряников и конфет. Поднялись такой гвалт и свалка, что продолжать это слишком шумное удовольствие не было возможности, и остатки сластей были розданы прямо на руки. У всех радостей — один общий недостаток: они слишком быстро проходят. Наша рекреация пролетела с самой обидной быстротой, и не успели мы даже устать хорошенько, как солнце уже село за зубчатую стену леса, и наступили сумерки. Костер Пальки потухал, палатка торгаша была сложена, торговки укладывали пустые ящики и бутылки на свои тележки, одним словом, пир был кончен. Раскрасневшиеся, счастливые детские лица все еще были полны веселой энергией, а наступила пора возвращаться домой. Я только теперь вспомнил, что именно сегодня должна была совершиться давно ожидаемая казнь

Фортунки, и, конечно, она будет произведена в сумерки, когда пойдем врассыпную домой. У меня даже сжалось сердце от страха… Веселившийся Ермилыч принял угрюмый вид. Фортунка съежился, присмирел и не отходил от Александра Иваныча — он предчувствовал, что его час настал.

— По домам! — скомандовал инспектор.

Все пошли одной гурьбой, с веселыми песнями, как и следует закончиться настоящему празднику. Инспектор и учителя даже не сели на своих извозчиков, а шли вместе с толпой облепившей их детворы. Это была трогательная картина того, чем должна быть школа. Все было забыто для счастливого дня: и инспекторские «субботы», и зубрение, и строгие порядки дореформенной духовной школы. Эта старая школа умела на один день быть действительно гуманной, выкупая этим именно счастливым днем все свои педагогические вольные и невольные прегрешения… Люди были людьми, и только. Новая школа, размерив время учения по минутам, не нашла в своем распоряжении ни одного свободного дня, который могла бы подарить детям. Она формально справедливее и формально гуманнее, но в ней учитель и ученик отделены такой пропастью, через которую не перекинуто ни одного живого мостика. Новая школа не знает отступлений от своих программ, и ученики в ней являются в роли простых цифр известной педагогической комбинации. Дореформенная школа, несмотря на все свои несовершенства, стояла ближе к детскому миру, особенно если бы выкинуть из нее ненужную жестокость педагогов и жестокие школьные традиции. [8]

Итак, мы возвращались в город. Школьники шли вольно, врассыпную, как солдаты после учения. Наша квартира отстала, особенно старшие ученики. Фортунка ни на шаг не отставал от Александра Иваныча, пугливо озираясь на Ермилыча. В одном месте, где дорога шла лесом, мы совсем отстали, и все как-то таинственно остановились. Александр Иваныч достал папиросу и, раскуривая ее, проговорил с равнодушием скучавшего деспота:

— Ермилыч, а ты позабыл про сапоги?

Этой фразой он выдал Фортунку Ермилычу. Как настоящий восточный деспот, Александр Иваныч хотел потешиться на счет своего фаворита, чтобы закончить счастливый день достойным образом. Фортунка рванулся было, чтобы бежать вперед, но Александр Иваныч его остановил:

— Куда? Воду в сапоги умеешь наливать? Ха-ха… Ермилыч, казни его.

Ермилыч тяжело дышал. Он точно застыл на одном месте, в той позе, когда зверь бросается на свою жертву. Один прыжок, и

Фортунка был бы избит самым жестоким образом. Но случилось нечто неожиданное: Ермилыч вытащил свою гирьку и швырнул ее далеко в лес, а потом облегченно вздохнул, точно с него сняли какую-то тяжесть.

— Ермилыч, ты что же это? — подзадоривал его Александр Иваныч.

Но Ермилыч уже шагал разбитой походкой и не оглядывался. Когда мы вернулись на квартиру и улеглись спать, Ермилыч, завертываясь в свое одеяло и отвечая на мой немой вопрос, проговорил с добродушной улыбкой:

— Черт с ним, с Фортункой: не мог я на него рассердиться!..

Это была наша последняя рекреация. Наступила школьная реформа, новые порядки и новые люди.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПИЛЬЩИКА
Рассказ

I

Есть вещи, к которым мы настолько привыкаем, что они делаются для нас совсем незаметными и почти не существующими. Разве каждый восход солнца не величайшее чудо, а мы просыпаем его самым бессовестным образом, и только потому, что это совершается каждый день. Нужно только представить себе, что вот это ее замечаемое нами солнце было изобретено кем-нибудь, и его восход показывали бы за деньги, как иллюминацию, электричество и фейерверки, — с каким восторгом мы наслаждались бы этим изумительным и единственным зрелищем. А каждый зеленый лист растения разве не чудо? Устройство ноги самого несчастного комаришка разве не чудо? Но мы привыкли к этому чуду и не замечаем его, а затем — просто не можем его оценить в достаточной мере, потому что его не понимаем.

Еще меньше внимания мы обращаем на те мелочи и кажущиеся пустяки, которыми с пеленок обставляется вся наша жизнь, как своего рода маяками и таинственными сигналами, в которых часто скрыта какая-то неведомая сила, как в любом самом ничтожном зернышке. Возьмем для примера самую простую детскую игрушку. Все человечество начинает свою жизнь именно с нее, с этой часто бессмысленной и глупой побрякушки или куклы. Как-то даже странно думать, что в свое время и великий Цезарь, и великий Шекспир, и великий Наполеон сосредоточивали все свое внимание на детской игрушке. Это

какая-то таинственная стадия в развитии всего человечества, и мне кажется, что все эти детские игрушки — что-то живое, что принимает самое деятельное участие в жизни маленького человечества, приводя к одному знаменателю великих и ничтожных мира сего.

Самый трогательный момент в этом таинственном периоде игрушечного существования наступает тогда, когда ребенок расстается со своими игрушками навсегда, как расстаются со старыми, дорогими друзьями. Ведь лошадка, лишенная всех четырех ног и мочального хвоста, продолжает еще жить даже тогда, когда валяется где-нибудь на чердаке в куче разного другого хлама. У самого умного народа, какой только существовал, именно у римлян, был целый обряд, когда девушка-невеста приносила свои детские игрушки и куклы в жертву какой-то богине. В этом обряде много смысла и какой-то особенно грустной, специально античной поэзии…

В моем детстве игрушек было очень немного, особенно покупных, и, вероятно, поэтому я их помню с особенной отчетливостью. Сколько вещей перезабыто более ценных, сколько лиц просто как-то выпали из памяти, некоторые события претерпели ту же участь, потускнели, точно стерлись и заслонились другими, а память об игрушках сохранилась. Тут и дешевенькая лошадка из папье-маше, и дрыгавший ногами раскрашенный паяц, и Сергиевская лавра, и целый ряд особенно дорогих картинок, и картонные домики, — все это вижу, как сейчас. Но лучшую игрушку составлял деревянный пильщик, которого время от времени устраивал наш кучер, хохол Яков. Пильщик вырезался довольно грубо из куска дерева, в руках он держал деревянную пилу и, поставленный на край большого стола в кухне, начинал мерно раскачиваться. Эта мужицкая игрушка производила самое сильное впечатление, потому что двигалась, а движение — синоним жизни. Как живое существо, деревянный пильщик подвергался всем последствиям своего возраста, пока не кончал полным разрушением, то есть терял пилу, руки, ноги и голову. Хохол Яков был упрям и ленив, и заставить его сделать другого пильщика составляло немалый труд.

— Яков, голубчик, миленький, устрой другого пильщика…

— А ну вас, — равнодушно отвечал Яков.

Но дети в своих детских делах не менее настойчивы, чем большие, и через некоторое время, поломавшись над нами вдоволь, Яков уступал. Самое скверное, когда Яков начинал бесконечную сказку про белого бычка:

— Ты говоришь: «устрой пильщика», я говорю: «устрой

пильщика», а не сказать ли вам сказку про зеленого бычка?

— Яков, пожалуйста…

— Ты говоришь: «Яков, пожалуйста», я говорю: «Яков, пожалуйста», а не сказать ли вам сказку про синего бычка?

В конце концов второй пильщик все-таки появлялся и оказывался ничем ее хуже своего предшественника.

Нужно сказать, что в семье у нас в это время не было девочек, и поэтому не было и настоящей детской куклы, представляющей, по моему мнению, игрушку всех игрушек. От карточных домиков, паяцев, пильщиков и картинок мы сразу как-то перешли к играм в бабки, в шарик, в лошадки, к разным самострелкам и пастушьим хлыстам. Поэзия домашних игрушек отлетала с наступлением весны и возвращалась только глубокой осенью, когда на улицу нельзя было показать носа. К началу школьного возраста у меня явился друг Костя, сын одного из заводских служащих. Мальчик отличался веселым характером и великой изобретательностью по части сооружения новых игрушек, в чем заключалась особенная прелесть, потому что явилась возможность делать игрушки самим, не прибегая к помощи упрямого Якова. Пошли в ход всевозможные материалы: картон, дерево, цветная бумага, старые жестянки, кожа и краски. Мы работали вместе, но я никогда не мог достичь совершенства Кости по отделу клеения домиков и коробок, а предпочитал более грубые работы на дереве и железе. Верхом нашего искусства был деревянный пароход, на котором мы путешествовали вокруг света. Команда состояла из деревянных матросов, у которых благодаря особенному старанию с нашей стороны получались какие-то зверские лица. В носу парохода помещалась деревянная пушка, которая много помогала нам в борьбе с людоедами и жестокими дикарями вообще. Происходили удивительно блестящие сражения, когда неприятель бежал от нас тысячами. Все это происходило в присутствии таких благородных свидетелей, как наш кучер Яков, авторитет которого в военном деле не подлежал ни малейшему сомнению. Вообще мнением кучера Якова мы дорожили по всем вопросам и непременно требовали его одобрения.

— А что же, хорошо, — говорил обыкновенно Яков, и мы успокаивались.

Нужно сказать, что одобрение Якова находилось в прямой зависимости от листов бумаги, которые мы ему дарили на «цигарки». Яков удивительно искусно свертывал из бумаги крючок, известный под названием «козьей ножки», набивал его злейшей махоркой и предавался специально кучерскому far niente.[9] В воспитании благородного российского юношества кучера имеют гораздо больше значения, чем думают господа

педагоги. Остальная мужская прислуга как-то теряется в детском обиходе, а кучер всегда остается на недосягаемой высоте и сохраняет свой авторитет неизменно.

Детская фантазия неистощима и реализуется в тысяче тех мелочей, какие для взрослых людей остаются незаметными пустяками. Детские руки используют всякий обрывок веревки, осколки разбитой чашки, обрезки бумаги, попавшийся на глаза пестрый камушек и вообще всякий хлам и отбросы, причем получаются удивительные превращения, точно дерево, камень и все эти обрезки и обломки оживают! Детское воображение из каждой вещи делает игрушку, и каждый ребенок в своей неугомонной созидающей и разрушающей работе повторяет многомиллионный опыт своих предшественников. Интересна именно эта детская игрушка, которую смастерил ребенок сам, интересна, несмотря на все недочеты материала и техники, а покупная, самая дорогая игрушка является только материалом для новых комбинаций.

II

Как теперь, помню этот роковой день, когда к нашему дому подкатил троечный экипаж. В экипаже сидел наш благочинный о. Алексей, очень красивый и представительный седой старик с окладистой бородой, придававшей ему вид старинного московского боярина. Рядом с ним в экипаже сидел худенький мальчик лет двенадцати, стриженный под гребенку, с острым носиком и в мягкой пуховой шляпе. Появление гостей в нашем доме составляло всегда некоторое событие, а тут еще приехало в некотором роде начальство. О. Алексей был очень хороший, добрый и неизменно веселый человек; его все любили, но, тем не менее, в нашем доме поднялся страшный переполох. Мое внимание, конечно, сосредоточивалось главным образом на маленьком поповиче, которого я видел в первый раз. Он быстро выскочил из экипажа, подбежал ко мне и проговорил:

— Ну, здравствуй… Тебя как зовут? А меня Леней…

— Вот что, милый друг, — говорил о. Алексей, вылезая из экипажа с большим трудом. — Ты смотри, того…

— Я, папочка, не буду шалить…

— Знаю, знаю… А только я тебе вперед говорю. Понимаешь?

Леня только засмеялся и побежал в комнаты. Его развязность несколько меня удивила, и мне было неприятно, что он так себя ведет. Маленький гость обежал все комнаты, выскочил через окно прямо в сад, по пути бросил палкой в кошку и исчез в огороде,

прыгая по грядам, как козел.

— Леня, Леня! — кричал о. Алексей. — Ах, господи, вот человек навяжется!.. Леня!

Когда я побежал в огород, мальчик уже возвращался, откусывая на ходу только что сорванный в теплице огурец. В другой руке у него была целая охапка всякой зелени: вырванный с корнем куст гороха, несколько реп, пучок бобов, морковь. Мне сделалось даже жутко, когда я увидел, как Леня ел огурец, выплевывая зеленую кожурку, а потом бросил его на крышу. Нужно сказать, что в горах, где засел наш завод, огурцы составляли предмет большой редкости и выводились только в теплице и парниках. В нашей теплице все огурцы были на счету, и сорванный Леней как раз составлял единственный спелый экземпляр, который оставлялся в теплице «на случай гостей».

— Ах, Леня, Леня, разве можно так? — ласково журил о. Алексей своего баловня. — У тебя еще живот разболится…

Но Леня, разбросав свою добычу, уже был на черемухе, и только было слышно, как он безжалостно ломает сучья, чтобы достать еще не поспевшую ягоду. Одним словом, это был настоящий мальчик-озорник, избалованный отцом до последней степени. Пока готовился обед, он успел сбегать к жившему рядом единоверческому священнику и бросил кирпичом в дверь передней, потом забрался на крышу, причем чуть не свалился, побывал на сеновале, в курятнике, на погребе, в бане и везде что-нибудь ломал и портил.

Такого отчаянного шалуна мне приходилось видеть еще в первый раз, и во мне накоплялось по отношению к нему затаенное чувство злобы. В нашей скромной семье ничего подобного еще не было видано. Но главное испытание было еще впереди, что я смутно уже предчувствовал. Обыскав весь дом, Леня не мог найти только заветного уголка, где мы с Костей поместили наши игрушки на летнем положении. В уголке под навесом сарая из досок была устроена «избушка», а в ней помещались все наши сокровища. Сейчас после обеда Леня быстро исчез, и я бросился его отыскивать. Мои предчувствия оправдались: он был в нашей избушке.

— Ты… ты… ты что здесь делаешь? — спрашивал я, задыхаясь от волнения.

— А это что такое? — спрашивал Леня, рассматривая пильщика.

— Пильщик… Он умеет пилить.

Я показал работу своего любимца, но это не произвело никакого эффекта и вызвало только хохот Лени. Затем он быстро обломал пильщику руки и ноги и бросил. Я совершенно

растерялся и, вероятно, имел очень глупый вид, потому что Леня продолжал хохотать. Следующая очередь наступила за нашим пароходом. Сорванец бросил его на пол и принялся топтать ногами, продолжая хохотать.

— Ты… ты!.. — крикнул я, чувствуя, как все у меня потемнело в глазах.

— Я… я… я!.. — ответил Леня, показывая язык.

В тот же момент я бросился на него, и мы молча покатились по полу. Произошла самая отчаянная драка. Леня уже начинал было меня одолевать, как мне под руку попался сломанный пильщик и помог в борьбе. Несколько ударов по лицу, побежавшая из носу кровь — и все было кончено. Я остался в избушке среди дорогих развалин, а Леня, весь окровавленный, бросился в комнаты. Не было сомнения, что он побежал жаловаться и что моя победа обойдется мне дорого.

В полном отчаянии я убежал в сад и решил, что больше не вернусь домой. Леня, конечно, был неправ, но это еще не значило, что нужно было поднять такую отчаянную драку. Из своей засады я видел, что в нашем доме происходит большая суматоха, и с замирающим сердцем ждал, что вот-вот раскроется окно в сад и отец позовет меня на расправу. А в доме происходило следующее. Весь окровавленный, Леня, конечно, произвел эффект, и о. Алексей страшно перепугался. Но шалун и не думал жаловаться на меня, а объяснил все тем, что упал с лестницы. Его вымыли, и тем все дело кончилось. Через полчаса он уже разыскивал меня, и когда нашел, то проговорил самым дружелюбным образом:

— Ну, давай помиримся… Нехорошо сердиться.

— А ты зачем наши игрушки ломаешь?

— Игрушки? Скажите, какой ребеночек… У меня тоже были игрушки, а теперь я совсем большой! В игрушки играют только дети…

Это объяснение огорчило меня не меньше потери любимых игрушек. В душе мелькнул призрак той гнетущей пустоты, которую оставляет после себя потеря любимого человека.

На другой день о. Алексей уехал домой. Леня, сидя уже в экипаже, кричал мне:

— А ты приезжай к нам в гости… У меня есть настоящее ружье, которое стреляет настоящим порохом.

Когда вечером пришел Костя, я, конечно, рассказал ему под секретом о всем случившемся, причем немного приукрасил собственную храбрость и некоторые обстоятельства битвы.

— Что же, мы поправим пароход и сделаем нового пильщика, — думал вслух мой друг.

Но тут я вспомнил роковое объяснение Лени относительно

игрушек.

— И все-таки поправим… — упрямо повторил Костя.

Но поправки не последовало. Изувеченного пильщика мы торжественно похоронили в нашем саду, и мне даже сейчас жаль этого скромного и молчаливого труженика, вместе с которым похоронено было и все раннее детство, освещенное и согретое детскими иллюзиями.

О КНИГЕ КНИЖКА С КАРТИНКАМИ

Habent sua fata libelli.[10]

I

В снах, как принято думать, нет никакой логики; но, как мне кажется, это ошибочно, — логика должна быть, но только мы ее не знаем. Может быть, это логика какого-нибудь иного, высшего порядка.

Сны не только существуют, но и сильно действуют на нашу душу. Область нашей воли здесь кончается, и мы смутно предчувствуем границы какого-то иного, неведомого нам мира.

На меня, например, самое сильное впечатление производят сны, в которых поднимается далекое детство и в неясном тумане встают уже сейчас несуществующие лица, тем более дорогие, как все безвозвратно утраченное. Я долго не могу проснуться от такого сна и долго вижу живыми тех, кто давно уже в могиле. И какие всё милые, дорогие лица! Кажется, чего бы ни дал, чтобы хоть издали взглянуть на них, услышать знакомый голос, пожать их руки и еще раз вернуться к далекому-далекому прошлому. Мне начинает казаться, что эти молчаливые тени чего-то требуют от меня. Ведь я столько обязан этим бесконечно дорогим для меня людям…

Но в радужной перспективе детских воспоминаний живыми являются не одни люди, а и те неодушевленные предметы, которые так или иначе были связаны с маленькой жизнью начинающего маленького человека. И сейчас я думаю о них, как о живых существах, снова переживая впечатления и ощущения далекого детства.

В этих немых участниках детской жизни на первом плане, конечно, стоит детская книжка с картинками… Это была та живая нить, которая выводила из детской комнаты и соединяла с остальным миром. Для меня до сих пор каждая детская книжка является чем-то живым, потому что она пробуждает детскую

душу, направляет детские мысли по определенному руслу и заставляет биться детское сердце вместе с миллионами других детских сердец. Детская книга — это весенний солнечный луч, который заставляет пробуждаться дремлющие силы детской души и вызывает рост брошенных на эту благодарную почву семян. Дети благодаря именно этой книжке сливаются в одну громадную духовную семью, которая не знает этнографических и географических границ.

Здесь мне приходится сделать небольшое отступление, именно по поводу современных детей, у которых приходится сплошь и рядом наблюдать полное неуважение к книге. Растрепанные переплеты, следы грязных пальцев, загнутые утлы листов, всевозможные каракули на полях — одним словом, в результате получается книга-калека. Может быть, здесь виноваты большие, которые подают живой пример своим детям. Спросите каждого библиотекаря, как его сердце обливается кровью, когда у него на глазах совершенно новая книга превращается в грязную тряпку. Кто пишет на полях нелепые замечания? Кто и для какой цели вырывает из средины целые страницы? Вообще кому нужно увечить книгу и безобразить ее? Особенно, конечно, страдают рисунки. В лучшем случае их вырывают «с мясом», а в худшем — портят пером, карандашом и красками. Тут даже не простое неуважение к книге, а какое-то злобное отношение к ней. Трудно понять причины всего этого, и можно допустить только одно объяснение, именно, что нынче выходит слишком много книг, они значительно дешевле и как будто потеряли настоящую цену среди других предметов домашнего обихода. У нашего поколения, которое помнит дорогую книгу, сохранилось особенное уважение к ней, как к предмету высшего духовного порядка, несущего в себе яркую печать таланта и святого труда.

II

Как сейчас вижу старый деревянный дом, глядевший на площадь пятью большими окнами. Он был замечателен тем, что с одной стороны окна выходили в Европу, а с другой — в Азию. Водораздел Уральских гор находился всего в четырнадцати верстах.

— Вон те горы уже в Азии, — объяснял мне отец, показывая на громоздившиеся к горизонту силуэты далеких гор. — Мы живем на самой границе…

В этой «границе» заключалось для меня что-то особенно таинственное, разделявшее два совершенно несоизмеримых мира. На востоке горы были выше и красивее, но я любил больше запад, который совершенно прозаически заслонялся невысокой горкой Кокурниковой. В детстве я любил подолгу сидеть у окна и смотреть на эту гору. Мне казалось иногда, что она точно сознательно загораживала собой все те чудеса, которые мерещились детскому воображению на таинственном, далеком западе. Ведь все шло оттуда, с запада, начиная с первой детской книжки с картинками… Восток не давал ничего, и в детской душе просыпалась, росла и назревала таинственная тяга именно на запад. Кстати, наша угловая комната, носившая название чайной, хотя в ней и не пили чая, выходила окном на запад и заключала в себе заветный ключ к этому западу, и я даже сейчас думаю о ней, как думают о живом человеке, с которым связаны дорогие воспоминания.

Душой этой чайной, если можно так выразиться, являлся книжный шкаф. В нем, как в электрической батарее, сосредоточилась неиссякаемая, таинственная могучая сила, вызвавшая первое брожение детских мыслей. И этот шкаф мне кажется тоже живым существом. Его появление у нас составляло целое событие.

Мой отец, небогатый заводский священник, страстно любил книги и затрачивал на них последние гроши. Но ведь для книг нужен шкаф, а это вещь слишком дорогая, да, кроме того, в нашем маленьком заводе не было и такого столяра, который сумел бы его сделать. Пришлось шкаф заказать в соседнем Тагильском заводе, составлявшем главный центр округа Демидовских заводов. Когда шкаф был сделан, его нужно было привезти, а это тоже дело нелегкое. Помню, как мы ждали несколько недель, прежде чем подвернулась подходящая оказия. Его привезли зимой, вечером, в порожнем угольном коробе. Это

было уже настоящее торжество. В детстве я не знал другой вещи более красивой. Представьте себе две тумбы, на них письменный стол, на нем две маленьких тумбы, а на них уже самый шкаф с стеклянными дверками. Выкрашен он был в коричневую краску и покрыт лаком, который, к общему нашему огорчению, скоро растрескался и облупился благодаря плутовству мастера, пожалевшего масла на краску. Но этот недостаток нисколько не мешал нашему книжному шкафу быть самой замечательной вещью в свете — особенно когда на его полках разместились переплетенные томики сочинений Гоголя, Карамзина, Некрасова, Кольцова, Пушкина и многих других авторов.

— Это наши лучшие друзья, — любил повторять отец, указывая на книги. — И какие дорогие друзья… Нужно только подумать, сколько нужно ума, таланта и знаний, чтобы написать книгу. Потом ее нужно издать, потом она должна сделать далекий-далекий путь, пока попадет к нам на Урал. Каждая книга пройдет через тысячи рук, прежде чем встанет на полочку нашего шкафа.

Все это происходило в самом конце пятидесятых годов, когда в уральской глуши не было еще и помину о железных дорогах и телеграфах, а почта приходила с оказией. Не было тогда самых простых удобств, которых мы сейчас даже не замечаем, как например, самая обыкновенная керосиновая лампа. По вечерам сидели с сальными свечами, которые нужно было постоянно «снимать», то есть снимать нагар со светильни. Счет шел еще на ассигнации, и тридцать копеек считались за рубль пять копеек. Самовары и ситцы составляли привилегию только богатых людей. Газеты назывались ведомостями, иллюстрированные издания почти отсутствовали, за исключением двух-трех, да и то с такими аляповатыми картинками, каких не решатся сейчас поместить в самых дешевых книжонках. Одним словом, книга еще не представляла необходимой части ежедневного обихода, а некоторую редкость и известную роскошь.

III

Как все это было давно и вместе с тем точно все было вчера! Каких-нибудь сорок лет, — и все кругом изменилось. В какую глушь сейчас не проходят великолепные иллюстрированные издания необыкновенной дешевизны? Где вы не встретите иллюстрированный журнал, иллюстрированную детскую книжку или детский журнал?

Наша библиотека была составлена из классиков, и в ней —

увы! — не было ни одной детской книжки… В своем раннем детстве я даже не видал такой книжки. Книги добывались длинным путем выписывания из столиц или случайно попадали при посредстве офеней-книгонош. Мне пришлось начать чтение прямо с классиков, как дедушка Крылов, Гоголь, Пушкин, Гончаров и т. д. Первую детскую книжку с картинками я увидел только лет десяти, когда к нам на завод поступил новый заводский управитель из артиллерийских офицеров, очень образованный человек. Как теперь помню эту первую детскую книжку, название которой я, к сожалению, позабыл. Зато отчетливо помню помещенные в ней рисунки, особенно живой мост из обезьян и картины тропической природы. Лучше этой книжки потом я, конечно, не встречал.

В нашей библиотеке первой детской книжкой явился «Детский мир» Ушинского. Этну книгу пришлось выписывать из Петербурга, и мы ждали ее каждый день в течение чуть не трех месяцев. Наконец, она явилась и была, конечно, с жадностью прочитана от доски до доски. С этой книги началась новая эра. За ней явились рассказы Разина, Чистякова и другие детские книги. Моей любимой книжкой сделались рассказы о завоевании Камчатки. Я прочитал ее десять раз и знал почти наизусть. Нехитрые иллюстрации дополнялись воображением. Мысленно я проделывал все геройские подвиги казаков-завоевателей, плавал в легких алеутских байдарках, питался гнилой рыбой у чукчей, собирал гагачий пух по скалам и умирал от голода, когда умирали алеуты, чукчи и камчадалы. С этой книжки путешествия сделались моим любимым чтением, и любимые классики на время были забыты. К этому времени относится чтение «Фрегат “Паллада”» Гончарова. Я с нетерпением дожидался вечера, когда мать кончала дневную работу и усаживалась к столу с заветной книгой. Мы путешествовали уже вдвоем, деля поровну опасности и последствия кругосветного путешествия. Где мы ни были, чего ни испытали, и плыли все вперед и вперед, окрыленные жаждой видеть новые страны, новых людей и неизвестные нам формы жизни. Встречалось, конечно, много неизвестных мест и непонятных слов; но эти подводные камни обходились при помощи словаря иностранных слов и распространенных толкований.

КНИЖКА

I

Лет до восьми моя жизнь с братом, который был старше меня года на два, не выходила зимой из границ комнаты, а летом — двора, небольшого садика и огорода. «Улица» для нас еще не существовала, и мы видели ее только из окна или проходили по ней под конвоем няни. Благодаря комнатному воспитанию мы росли бледненькими и слабенькими господскими детками, которые отличались послушанием и боялись всего, что выходило за пределы нашего дома.

Товарищество, впрочем, нахлынуло разом, когда мы начали ходить в заводскую школу. Мы как-то сразу получили полную детскую свободу и сразу же перестали бояться. Смелости и предприимчивости оказался даже излишний запас, выражаясь в школьных драках и соответствующих возрасту шалостях. Я два раза тонул, приходил домой с синяками, подвергался разным опасностям, уже совсем не по возрасту. Этот боевой период раннего детства совпадает с воспоминанием о первом друге. Это был сын заводского служащего, бледнолицый, с зеленоватыми глазами и вечной улыбкой на губах. Его звали Костей. Я не помню, чтобы этот мой первый друг хотя бы когда-нибудь рассердился, — он вечно был весел и всегда улыбался. Милый Костя! Его давно нет на свете, и я вспоминаю о нем с особенной любовью, как о родном и таком близком человеке, которого не можешь отделить от самого себя.

В детской дружбе заложена какая-то таинственная сила, которая проходит через всю остальную жизнь. Те, кого мы любили в детстве, служат точно путеводными маяками для остального жизненного пути. Моя встреча с Костей окрасила не только мое детство, но и юность дорогими впечатлениями и первым дорогим опытом. С ним вместе мы начали самостоятельную жизнь, именно ту жизнь, которая начиналась за пределами детской комнаты, захватывала все родное селение и потом увела на зеленый простор родных гор. Вместе с Костей же явилась и новая книга.

— У меня отец все романы читает, — рассказывал Костя, коверкая ударение. — И чем страшнее, тем лучше для него. Хочешь, почитаем вместе? Есть «Черный ящик», «Таинственный монах», «Шапка юродивого, или Трилиственник».

Я, конечно, согласился с величайшим удовольствием. Отец Кости имел привычку перечитывать свои любимые «романы» по нескольку раз, и книги имели очень подержанный вид, а некоторые листы были точно изжеваны теленком. Из всей этой библиотеки на меня произвел самое сильное и неизгладимое впечатление знаменитый «Юрий Милославский» Загоскина. Для него я на время забыл даже Гоголя и других классиков. Увы!

Таких романов нынешние авторы уже не пишут…

— Люблю почитать романы, — говорил отец Кости. — Только я по-своему читаю… Меня, брат, никакой сочинитель не проведет. Я сперва прочитаю конец романа, если все благополучно кончилось, ну, тогда я уж с начала за него примусь. Учен я довольно… Прежде, бывало, читаешь-читаешь, а до конца дочитал, — глядь, либо кого убили, либо кто умер. Нет, покорно благодарю!.. Я и без сочинителя знаю отлично, что все мы помрем. Мало ли горя кругом, а тут еще в книге его вычитывай…

Его звали Романом Родионычем. Это был человек маленького роста, с большой кудрявой головой. Он тоже вечно улыбался, как и Костя, — это была фамильная черта. Вообще окружавшие мое детство люди отличались великим добродушием, и я не помню ни одного злого человека, за исключением нескольких старух-раскольниц, злившихся, так сказать, по обязанности, чтобы не проявить по отношению к нам, ребятам, преступной бабьей слабости. Роман Родионыч всегда находился в прекрасном расположении духа, а когда впадал в отличное, то декламировал удивительнейшие стихи:

Людовиг, говорят,
В один миг, говорят,
Все постиг, говорят,
Пить хотел, говорят,
Не умел, говорят,
И пропал, говорят…

Откуда такие стихи и какой сочинитель их сочинил, — покрыто мраком неизвестности.

Роман Родионыч, как я уже сказал, был заводский служащий и занимал должность запасчика, то есть заведовал амбарами с хлебом, овсом и разными другими материалами, как сальные свечи, веревки, кожи и проч. Наш завод хотя и был небольшой, но служащих было достаточно. Они все были из крепостных и образование получили в заводской школе. Дальнейшее образование шло «своим умом» и почерпалось главным образом из случайно попадавшихся под руки книг.

Мы сейчас слишком привыкли к книге, чтобы хотя приблизительно оценить ту громадную силу, которую она представляет. Важнее всего то, что эта сила, в форме странствующей книги в коробке офени, сама приходила уже в то далекое время к читателю и, мало того, приводила за собой другие книги, — книги странствуют по свету семьями, и между ними сохраняется своя родовая связь. Я сравнил бы эти

странствующие книги с перелетными птицами, которые приносят с собой духовную весну. Можно подумать, что какая-то невидимая рука какого-то невидимого гения разносила эту книгу по необъятному простору Руси, неустанно сея «разумное, доброе, вечное». Да, сейчас легко устроить домашнюю библиотеку из лучших авторов, особенно благодаря иллюстрированным изданиям; но книга уже пробила себе дорогу в самую глухую пору, в доброе старое время ассигнаций, сальных свечей и всякого движения родным «гужом». Здесь нельзя не помянуть добрым словом старинного офеню-книгоношу, который, как вода, проникал в каждую скважину. Для нас, детей, его появление в доме являлось настоящим праздником. Он же руководил и выбором книг и давал, в случае нужды, необходимые объяснения.

Помню, как один старичок-офеня разрешил вопрос об ударении над словом роман.

— Ром***а***н — это имя, а р***о***ман — книга.

— Вот-вот, это самое, — почему-то торжествовал добрейший Роман Родионыч. — Тогда и не различить бы, который роман — человек, а который роман — книга. И меня бы с книгой стали смешивать.

Один из таких офеней лично мне невольно доставил большое огорчение. Как все дети, я очень любил рисовать, а у него в коробе среди других сокровищ оказался атлас для самообучения рисованию. Вся беда была в том, что он стоил целых два рубля — сумма, по тогдашнему счету и по нашему бюджету, громадная, — целых шесть рублей, если считать на ассигнации.

— Нет, не могу, — заявил отец. — Если рубль, то еще можно, а двух рублей нет.

Я отлично понимал, что значит слово «нет», и не настаивал. Так атлас и ушел в коробе офени к другому, более счастливому покупателю, а мне его жаль даже сейчас. Уж очень хотелось учиться рисовать, а учиться было не по чему. Мы с Костей принялись копировать плохие гравюры из «Живописного обозрения», возмущаясь их аляповатостью.

II

Нужно сказать, что библиотека Романа Родионыча была очень маленькая, и книги сошлись в ней совершенно случайно, как встречаются незнакомые люди где-нибудь в вагоне. Исчерпав этот запас, мы с Костей начали отыскивать книги в других домах. Конечно, у управителя книг было много, но мы не решались быть назойливыми. Оказалось, что рядом с нашим домом находилось

целое книгохранилище.

В раннем детстве всей медициной у нас заведовал худенький старичок, заводский фельдшер Леонтий Ефимыч. С этим именем у меня связаны воспоминания о первом знакомстве с разными порошками от кашля, детскими «микстурками», припарками и целой коллекцией всевозможных мазей. Не было такой болезни, от которой у Леонтия Ефимыча не нашлась бы соответствующая ей «микстурка», мазь или припарки. И, право, дело шло совсем недурно, а главное, как-то добродушно. Уже одно появление в доме Леонтия Ефимыча вносило известное успокоение, точно он являлся живым олицетворением всех целебных сил.

— Горлышко болит? Кашелек легкий? — ласково спрашивал он, щупая пульс. — А ну-ка, покажи язык… Так, так, легонький жарок… А мы его микстуркой прогоним, да малинки выпить на ночь, да маслицем грудку растереть.

В чайной или гостиной в это время появлялась уже домашняя «закусочка». Леонтий Ефимыч выпивал «рюмочку водочки», закусывал «ломтиком колбаски», принявшей от времени окаменелый вид (знаменитая углицкая колбаса, или по-сибирски — «сапажу»), потирал руки, улыбался и повторял:

— Ничего, ничего… А мы микстуркой да маслицем, а то можно будет и горчичничек. Да, мы шутить не любим…

У меня осталось относительно заводских фельдшеров самое теплое воспоминание. Право, они лечили недурно, а главное — не запугивали и не говорили страшных ученых слов. Существования бактерий тогда, конечно, никто еще и не подозревал, но кипяченая вода прописывалась при малейшем заболевании немедленно, как это делается и сейчас. Я в эту пору детства не видел ни одного доктора, а только слышал, что есть какой-то доктор в Тагиле, который спит на сене и питается исключительно одними пирогами с морковью.

Добродушного Леонтия Ефимыча сменил не менее добродушный фельдшер Александр Петрович, походивший наружностью на доброго старого немца: лицо всегда гладкое, выбритое, на висках аккуратно завитые букольки, в руках табакерка. Своим появлением на заводе Александр Петрович произвел даже известную сенсацию.

— Александр Петрович был в Петербурге, — объяснил нам с Костей Роман Родионыч. — Да… Его голой рукой не бери.

«Человек, который был в Петербурге», для меня являлся окруженным известным ореолом, и я долго не мог привыкнуть к этой мысли. Мне все казалось, что Александр Петрович непременно сделает что-нибудь такое, чего никогда не могут сделать люди, не бывавшие в Петербурге, или по крайней мере он

должен думать что-нибудь такое, о чем не снилось всем нам. Дальше мне казалось, что он даже и свою немецкую наружность тоже вывез из Петербурга, как вывозят оттуда всевозможные чудеса и редкости. Впрочем, метод лечения у Александра Петровича был таким же, как и у не бывавшего никогда в Петербурге Леонтия Ефимыча, с той разницей, что когда Александр Петрович входил в нашу детскую, то с ним вместе появлялась какая-то специальная атмосфера, пропитанная анисовым маслом и еще какими-то мудреными аптекарскими специями. Моему детскому воображению казалось, что это именно настоящий ученый запах, и я проникался еще большим уважением к «человеку, который был в Петербурге».

Вот у этого Александра Петровича мы и открыли целый склад книг, вместилищем для которых служил громадный старинный комод с медными скобками. Мы с Костей накинулись на это сокровище, как мыши на крупу, и на первых же шагах выкопали из праха забвения самого Аммалат-Бека.

В течение нескольких месяцев мы просто бредили этой книгой и при встречах здоровались горской песней:

Аллага-аллагу!
Слава нам, —
Смерть врагу!

Нами овладел особенный воинственный азарт и жажда славных подвигов. Мы сделали деревянные шашки и кинжалы, оклеили их цветной бумагой и делали друг перед другом свирепые лица, стараясь перещеголять друг друга в жестокости настоящих лезгин, чеченцев и кабардинцев. Не довольствуясь декламацией, мы распевали хором предсмертную песню горцев, так что нашим увлечением заразился даже Роман Родионыч и раз заявил самым решительным образом:

— Эх, если бы не жена да не ребятишки, — ушел бы на Кавказ воевать с Шамилем. Ей-богу, ушел бы… Винтовку бы купил, кинжал, шашку и сделался бы абреком.

— Да ведь Шамиль давно взят в плен, а абреками называются горцы, — объясняли мы.

— Э, все равно! Ничего вы не понимаете. Один стихотворец, — только вот фамилию забыл, — так он так сказал:

Гирей сидел, потупив взор,
Янтарь в устах его дымился.

Вот оно как… да! Одного Шамиля взяли, ну, другой остался. Как же Кавказ и без Шамиля?.. Дудки!.. Скажи-ка вот это своими словами, и выйдет чепуха: Гирей покурил табачку. Без Шамиля нельзя!..

«Сочинители» и «стихотворцы» составляли для нас неразрешимую загадку. Кто они такие, где живут, как пишут свои книги? Мне почему-то казалось, что этот таинственный, сочиняющий книги человек должен быть непременно сердитым и гордым. Эта мысль меня огорчала, и я начинал чувствовать себя безнадежно глупым.

— Все книги генералы сочиняют, — уверял Роман Родионыч. — Меньше генеральского чина не бывает, а то всякий будет писать!

Он ссылался в доказательство своих слов на портреты Карамзина и Крылова, — оба сочинителя были в звездах.

Мы с Костей все-таки усомнились в сочинительском генеральстве и обратились за разрешением вопроса к Александру Петровичу, который должен был знать все.

— Бывают и генералы, — ответил он довольно равнодушно, поправляя свои букольки. — Отчего же не быть генералам?

— Все генералы?..

— Ну, где же всем быть… Есть и совсем простые, так, вроде нас.

— Простые совсем, и сочиняют?

— И сочиняют, потому что кушать хотят. Зайдешь в Петербурге в книжный магазин, так глаза разбегутся. До потолка всё книги навалены, как у нас дрова. Ежели бы всё генералы писали, так от них на улице и проходу бы не было. Совсем есть простые сочинители, и даже частенько голодом сидят…

Последнее уже совсем не вязалось с составившимся в наших головах представлением о сочинителе. Выходило даже как будто и стыдно: мы вот читаем его книжку, а сочинитель где-то там в Петербурге голодает. Ведь он для нас старается и сочиняет — и мы начинали чувствовать себя немного виноватыми.

— Не может этого быть, — решил Костя. — Наверно, тоже свое жалованье получают…

III

Еще более неразрешимым вопросом являлось то, где в книге действительность и где сочинительский вымысел. Роман Родионыч даже впадал по этому поводу в уныние.

— Я недавно даже прослезился над романом, а если

сочинитель-то наврал? Может, этого и в помине не было, а я над его враньем реву… Я бы такого враля взял бы и растерзал. Не обманывай публику, не плутуй… Ежели всякий будет врать, так тогда и на свете нельзя будет жить.

Мы с Костей твердо верили, что в книге не может быть вранья, а описано все, как было в действительности. Ведь это было бы ужасно, если бы и Юрий Милославский, и наш любимый герой Кирша, и Аммалат-Бек оказались только сочинительской фантазией, нет, этого не может быть… Даже в учебниках, и в тех все правда. Нашими любимыми учебниками были география Корнеля и всеобщая история Лямо-Флери. Я и сейчас вспоминаю об этих милых друзьях с величайшей благодарностью.

У себя в кладовой и в комоде Александра Петровича мы разыскали, между прочим, много книг, совершенно недоступных для нашего детского понимания. Это были всё старинные книги, печатанные на толстой синей бумаге с таинственными водяными знаками и переплетенные в кожу. От них веяло несокрушимой силой, как от хорошо сохранившихся стариков. У меня с детства проявилась любовь к такой старинной книге, и воображение рисовало таинственного человека, который сто или двести лет назад написал книгу, чтобы я ее прочитал теперь. Этот загробный голос приводил меня в умиление, а дальше фантазия уже рисовала самостоятельный ряд картин: ведь этот древний сочинитель был в свое время ребенком, играл и шалил, как и мы с Костей, читал книжки сочинителей, которые жили задолго до него, и т. д. Почему же именно вот этот мальчик сделался сочинителем и через сотни лет говорит со мной, как бы говорил живой, а сотни, тысячи и миллионы других детей так и остались в неизвестности, забыты, и никто не интересуется, что они думали, чувствовали и делали.

— Это от бога, — объяснил Роман Родионыч.

— Почему же одному дано от бога, а другим не дано?

— Отвяжитесь… И птица перо в перо не родится.

В числе таинственных старых книг были такие, самое название которых трудно было понять: «Ключ к таинствам науки», «Театр судоведения», «Краткий и легчайший способ молиться, творение г-жи Гион», «Торжествующий Хамелеон, или изображение анекдотов и свойств графа Мирабо», «Три первоначальных человеческих свойства, или изображение хладного, горячего и теплого», «Нравственные письма к Лиде о любви душ благородных», «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (разрозненные книжки первого сибирского журнала) и т. д. Мы пробовали читать эти мудреные таинственные книги и погибали самым постыдным образом на первых страницах. Это убеждало

нас только в том, что именно эти старинные книги и есть самые умные, потому что их могут понимать только образованные люди, как наш заводский управитель.

На этих старинных таинственных книгах были неизвестной рукой сделаны предостерегающие надписи, вроде того, что «кто сию книгу возьмет без спросу — останется без носу», а на творении г-жи Гион красовалась целая «сентенция»: *«Только прошу Читать Со вниманием и табак не курить, и если кто покурит, у Того глаза уйдут в нос, в чем и подписуюсь своеручно Аверкий, сын Чемоданов».*

Совершенно особый отдел среди этих старинных книг составляли старинные учебники, по которым выучилось не одно поколение. Они были напечатаны на толстой и твердой, как кожа, бумаге, а для прочности края листов были смазаны маслом. Особенно любопытен был арифметический задачник издания 1806 года: «Собрание шести сот пятидесяти одного избраннейшего примера, в пользу юношества, учащегося арифметике, под смотрением преосвященнейшего Иустина, епископа пермского и екатеринбургского, взятых несколько из книг, но по большей части новоизобретенных посильными трудами Алексея Вишневского, учителя математики в новоучрежденной пермской семинарии». В числе приведенных «экземплев» находились такие, которые решались по какому-то «слепому» или девичьему правилу, а под № 375 находилась такая задача в стихах:

Нововыезжей в Россию французской Мадаме
Вздумалось ценить свое богатство в чемодане;
Новой выдумки нарядное фуро
И праздничный чепец а ля Фигаро.
Оценщик был Русак.
Сказал Мадаме так:
«Богатства твоего первая вещь фуро
В полчетверти дороже чепца а ля Фигаро;
Вообще же стоит не с половиною четыре алтына,
Но настоящая им цена всего только половина».
Спрашивается всякой вещи цена,
В чем французская Мадам к Россам привезена?

Решение задачи: «цена фуро 5j алтына, чепцу 1S алтына».

Впоследствии я встретил еще один экземпляр этой удивительной книги, составляющей библиографическую редкость.

Шестидесятые годы были отмечены даже в самой глухой

провинции громадным наплывом новой, популярно-научной книги. Это было яркое знамение времени. «Натуральные знания» находились даже не в зачаточном состоянии, а прямо их не существовало. Невежество доходило до смешного. Милейший Роман Родионыч любил производить нам с Костей маленький экзамен.

— Коська, из чего делают стекло?

Мы уже знали ответ и в один голос отвечали:

— Из соломы, Роман Родионыч.

— Ишь, выучил у меня. Ну, а какой зверь хвостом пьет?

— Бобер, Роман Родионыч.

И мы и наш экзаменатор верили, что бобр пьет хвостом, и нам не казалось это странным, да и другим тоже. Курьезов в этом роде было достаточно, и кругом относительно «натуры» царило самое наивное невежество. Книг по естествознанию не существовало, а обрывки знаний переходили от поколения к поколению устным преданием.

Мне было лет пятнадцать, когда я встретился с новой книгой. От нашего завода верстах в десяти были знаменитые платиновые прииски. Управителем, или по-заводски доверенным, поступил туда бывший студент Казанского университета Николай Федорыч. Мы с Костей уже бродили с ружьями по соседним горам, бывали на прииске, познакомились с новыми людьми и нашли здесь и новую книгу, и микроскоп, и совершенно новые разговоры. В приисковой конторе жил еще другой бывший студент, Александр Алексеевич, который главным образом и посвятил нас в новую веру. В конторе на полочке стояли неизвестные нам книги даже по названию. Тут были и ботанические беседы Шлейдена, и Молешот, и Фогт, и Ляйель, и много других знаменитых европейских имен. Пред нашими глазами раскрывался совершенно новый мир, необъятный и неудержимо манивший к себе светом настоящего знания и настоящей науки. Мы были просто ошеломлены и не знали, за что взяться, а главное, — как взяться «с самого начала», чтобы не вышло потом ошибки и не пришлось возвращаться к прежнему.

Это была наивная и счастливая вера в ту науку, которая должна была объяснить все и всему научить, а сама наука заключалась в тех новых книгах, которые стояли на полочке в приисковой конторе. Имена прежних любимцев, как Загоскин, Марлинский, Лажечников и др., сразу померкли и стушевались. Выступали вперед другие требования, интересы и стремления.

Роман Родионыч не признавал этих новых книг, которые казались ему подозрительными.

— Молешот… что такое Молешот? И имя-то какое-то собачье.

Нет, брат, нас не обманешь… Студенты, конечно, очень образованные и обходительные люди, а все-таки занимаются сущими пустяками. Ты мне подавай настоящее, самую суть, а не мошек да букашек.

И сейчас, когда я случайно встречаю где-нибудь у букиниста какую-нибудь книгу издания шестидесятых годов, у меня является радостное чувство, точно отыщешь хорошего старого знакомого.

Да, у книг своя судьба, как и у людей. «Что ни время, — сказал Гейне, — то и птицы; что ни птицы, — то и песни»…

ЗЕЛЕНЫЕ ГОРЫ

I

Милые зеленые горы!.. Когда мне делается грустно, я уношусь мыслью в родные зеленые горы, мне начинает казаться, что и небо там выше и яснее, и люди такие добрые, и сам я делаюсь лучше. Да, я опять хожу по этим горам, поднимаюсь на каменистые кручи, спускаюсь в глубокие лога, подолгу сижу около горных ключиков, дышу чудным горным воздухом, напоенным ароматами горных трав и цветов, и без конца слушаю, что шепчет столетний лес… Мне кажется, что со мной вместе по зеленым горам ходит тень дорогого когда-то человека, память о котором неразрывно связана вот с этими зелеными горами, где он являлся единственным хозяином. Без этого странного человека в горах чего-то недостает, и я иногда на охоте невольно вздрагивал и пугался, когда слышался его голос и осторожные, крадущиеся шаги.

Сквозь чуткий и тонкий сон самых ранних детских воспоминаний я вижу тощую, сгорбленную фигуру, которая на правом клиросе нашей маленькой деревянной заводской церкви каждое воскресенье читала совершенно непонятным бормотком и пела дребезжавшим, старческим голосом. Это был самый ветхозаветный дьячок, Николай Матвеич. Мочального цвета жиденькие волосы были заплетены в две тонкие косички и запрятаны за высокий воротник праздничного казинетового подрясника; такого же цвета усы и какая-то чахлая, точно заморенная бородка, русский нос картошкой, маленькие серые глаза с крошечным зрачком, тонкая загорелая шея, точно разграфленная глубокими морщинами, круглые очки в медной оправе, берестяная табакерка в кармане, легкое покашливанье и несоразмерно тяжелые шаги благодаря праздничным новым

сапогам — все это составляло одно целое. Заскорузлые руки с узловатыми, скрюченными пальцами умело и ловко держали топор и с трудом перелистывали закапанные воском страницы богослужебных книг, что меня постоянно удивляло.

Это был, так сказать, праздничный портрет Николая Матвеича, как и его праздничное бормотанье на клиросе.

— Точно глухарь бормочет на лиственнице, — говорил охотник Емелька, закадычный друг и приятель Николая Матвеича.

Служба в церкви кончалась. Народ расходился. Я садился к окну и ждал, когда последними из церкви выйдут охотник Емелька, дьячок Матвеич и еще кто-нибудь из стариков. Они выходили степенно и, не торопясь, пересекали площадь, минуя базар. Наш кучер Яков тоже ждал этого момента и с хохлацким юмором говорил:

— Эге, Матвеич втикае до шинка…

Мне было каждый раз обидно за Матвеича, потому что все знали, куда он идет, и подшучивали над стариком. Наверно, и ему совестно идти через площадь, и он делал такой вид, как будто идет куда-нибудь по делу. У нас в заводе был всего один кабак, и это таинственное место мне казалось вместилищем всякой гадости. Дальше я решительно не мог себе представить Матвеича именно в кабаке: сейчас был на клиросе, читал и пел божественное, и сейчас же кабак… Мне делалось жаль старика и хотелось крикнуть: «Николай Матвеич, идите домой чай пить… Никто не будет над вами смеяться». Через некоторое время Матвеич возвращался домой, но уже другой дорогой, задами огородов. Он шел сгорбившись, слегка колеблющейся походкой, делая неверные жесты одной рукой, а другой поддерживая расходившиеся полы своего подрясника. На ходу он что-то бормотал себе под нос и снимал меховую оленью шапку собственной работы, в которой ходил и зиму и лето. За ним разбитой походкой обыкновенно плелся Емелька, тоже размахивавший руками и бормотавший. Оба неразлучных друга производили впечатление только что отравленных людей, что было уже совсем не смешно.

Другое воспоминание о Николае Матвеиче связано неразрывно с нашими годовыми семейными праздниками, когда он являлся гостем, садился куда-нибудь в дальний угол и молчал. Съедался именинный пирог с рыбой; граненый графин с водкой пустел и наполнялся; в комнате поднимался одушевленный говор, а Николай Матвеич все отсиживался в своем уголке, не вступая в общий разговор. Но стоило кому-нибудь из заводских служащих поднять разговоры об охоте, как вся дьячковская

застенчивость исчезала, и Николай Матвеич выступал на сцену, сразу делаясь другим человеком. Он был страстный охотник и прекрасный рассказчик. Конечно, имели свое значение и выпитая водка и именинный пирог.

— Ну-ка, Николай Матвеич, расскажи про своих олешков! — подзадоривал кто-нибудь из гостей.

Олешками Николай Матвеич называл оленей, и охота за ними была его страстью. Рассказывал он разные эпизоды из своей охоты, мастерски изображая все в лицах. Обыкновенно он выходил на средину комнаты и давал настоящее представление. Забитого дьячковской нуждой человека как не бывало, а оставался истинный любитель охоты и артист. Со стороны было смешно смотреть, как он делал прыжки, подбирая полы своего праздничного подрясника, и разными голосами передавал, как кричит олешек-бык или блеет дикая коза. Все хохотали обыкновенно до слез, наслаждаясь даровым представлением, а мне было жаль старика, не замечавшего, что смеются не над его рассказом, а над ним самим, и обидно за него. Так и хотелось сказать ему, как во время его путешествий из церкви в кабак: «Николай Матвеич, не надо: они смеются над вами. Ведь вы совсем не такой человек».

Впоследствии мне еще много раз приходилось обижаться за Николая Матвеича, когда уже его не было на свете и когда я встречал смехотворное описание русского дьячка где-нибудь у любимого автора. Русская барская литература относилась всегда к дьячку с самым обидным презрением, как к чему-то до последней степени неприличному, жалкому и ненужному, чему не должно быть места на земном шаре. Это литература выводила добродетельных нянюшек, серьезных дворецких, верных старых слуг и добрых мужичков, а дьячок являлся только в роли смехотворного ничтожества. Это был даже не человек, а так, какая-то плесень, прицепившаяся к вые благородного во всех отношениях остального человечества. Дьячок по преимуществу выводился дармоедом, пьяницей и лишенным всякого человеческого достоинства.

Эти мысли о «дьячке» интересовали меня с самого раннего детства, потому что именно здесь чувствовалось поруганное человеческое достоинство. Почему не смеются и не вышучивают самого маленького заводского служителя, который решительно ни в чем не лучше дьячка, за исключением того, что не носит смешных косиц и подрясника? Про рабочих на заводе и говорить нечего. Они являлись рядом с Николаем Матвеичем прямо аристократами. Работа на фабрике, в курене, на промыслах и по перевозке разных заводских материалов оплачивалась гораздо

лучше, чем дьячковский труд. За разрешением своих сомнений я обращался к нашему кучеру Якову, типичному хохлу,[11] который с хохлацким юмором объяснил:

— А нэхай ему, дьячуге… Вин горилку пье.

Яков и сам был не прочь выпить «горилки», но это не ставилось ему в вину, как дьячку Николаю Матвеичу, да и сам он не стеснялся своей слабости.

Мой отец, человек самой строгой жизни, не бравший капли вина в рот, относился к Николаю Матвеичу с известным уважением, и я раз слышал, как он сказал:

— Николай Матвеич — настоящий философ…

Когда я просил отца объяснить это слово, он уклончиво заметил:

— Ты еще мал… Когда будешь больше — поймешь.

II

Рост детского мира ограничен своими географическими пределами. Помню, как до шести лет этот мир заключался по преимуществу в стенах нашего деревенского дома, причем зимой мы сидели в комнатах почти безвыходно, а летом играли в садике, а «на улицу», которая у нас заменялась большою заводскою площадью, нас отпускали погулять только под строгим надзором няни, что уже составляло для нас личное оскорбление. Уличная детвора, проводившая все время под открытым небом, сопровождала нас самыми обидными замечаниями и остроумными кличками. Мы в качестве благовоспитанных детей сами боялись этих уличных сорванцов и сторонились их.

Следующий географический момент наступил тогда, когда нянька была отставлена и в наше распоряжение отданы были двор, сад и огород, что вместе составляло довольно большое пространство, особенно летом, причем каждое время года приносило свои детские удовольствия. С ранней весны у отца начиналась работа в маленькой тепличке; потом шли приготовления парников и приготовление большого огорода. Распускались рябины, черемухи и смородина в нашем садике, где у нас были свои любимцы, как пион, принесенный Николаем Матвеичем с гор. По-уральски пион называется «марьиным корнем». Я особенно любил этот цветок, который мне казался каким-то таинственным гостем, и я не мог себе представить, чтобы в простом лесу росли такие пышные цветы. Николай Матвеич являлся в роли волшебника, похищавшего таинственную красоту этих зеленых гор, которые отлично были видны из окон

нашей детской.

— Их там много, Николай Матвеич, таких цветов? — приставал я к волшебнику.

— Довольно…

Потом Николай Матвеич приносил с гор прекрасные пестрые лилии, которые обыкновенно разводятся в оранжереях. Они на Урале называются «саранками». Их луковицы едят.

— В саду саранка не будет расти, — объяснил Николай Матвеич. — Она свою землю любит…

— И других цветов в горах много?

— Много… Всякие цветы в горах растут.

Благодаря Николаю Матвеичу я выучил название всех гор, которые были видны от нас. Ближайшая гора, тянувшаяся невысокой грядкой, называлась Путиной горой, за ней зеленой островерхой шапкой поднималась красавица Шульпиха, вправо от нее виднелось Седло, еще правее — Осиновая и т. д. Из-за этих гор чуть-чуть синела вершина самой высокой горы — Белой.

— Ишь как лоб-то высунула, — как-то особенно любовно говорил Николай Матвеич про последнюю.

Белая гора была слабостью Николая Матвеича, потому что под ней он бил своих олешек, а на Осиновой горе он выстроил себе балаган, где зимой жил по целым неделям. Все эти сведения я запоминал с жадностью, потому что в них открывался неведомый, таинственный горный мир. Оттуда Николай Матвеич приносил всякую дичь: глухарей, тетеревов-косачей, рябчиков; там же по зимам в горных быстрых речонках ловил налимов. Налимы особенно занимали нас. Николай Матвеич приносил их обыкновенно в мешке. Они замерзали, свернувшись кольцом. Интерес заключался в том, что стоило высыпать эти черные крендели, ломавшиеся, как сухарь, на стол в кухне и дать согреться, как они начинали шевелиться и оживали. Это был поразительный эффект. В Сибири любят делать пироги, запекая в тесте мороженую рыбу целиком, что придавало пирогу особенную сочность, и мороженые налимы, согревшись в печи, выползали иногда из пирога.

Вообще Николай Матвеич для меня являлся неиссякаемым источником всевозможных знаний, каких нельзя было добыть ни из одной умной книжки. Но было одно обстоятельство, которое просто отравляло нам жизнь. Он жил рядом с нами. Нас разделял только огород. Выйдешь, бывало, в свой садик и вдруг слышишь протяжный, жалобный вой, который просто хватал за душу. Это выла несчастная собака, которая сидела на привязи в подклети; а выла она оттого, что Николай Матвеич не считал нужным ее кормить как следует.

— Чутье потеряет, если ее кормить до отвала, — коротко объяснял он. — На охоте не будет работать…

Подклеть находилась под комнатой, где жил Николай Матвеич, и как он мог выносить этот голодный вой по целым дням, для меня и до сих пор остается неразрешимой загадкой.

Эта вечно вывшая охотничья собака послужила к тому, что я начал потихоньку от хозяина прикармливать ее. Соберешь разные кухонные остатки — кости, корки и разные объедки, укараулишь, когда Николая Матвеича нет дома, и стрелой мчишься к несчастному голодному псу.

Здесь необходимо сказать несколько слов об уральской промысловой собаке, которая является немаловажным действующим лицом в моих детских воспоминаниях. Тип охотничьей промысловой собаки вырабатывался веками, и на Урале славятся так называемые «вогулки». Вогулы — вымирающее племя инородцев, жалкие остатки которого сохранились только в самых глухих дебрях Северного Урала. Они исключительно занимаются звероловным промыслом, и от них перешла к русским промышленникам собака-вогулка. По наружности это — обыкновенная дворняга, с загнутым на спину хвостом, но опытный глаз сразу оценит породистую голову с большими глазами и острой мордой, сильную грудь и породистые, тонкие ноги. «Рубашка», то есть масть, — пестрая, причем черный, белый и желтый цвета перемешаны у каждой по-своему. Благодаря этой масти большинство вогулок носят одну кличку: Лыско. Такие охотники, как Николай Матвеич и Емелька, особенно ценили тех собак, у которых на бровях были желтые круглые пятна.

— Это вторые глаза, как у нас очки, — авторитетно объяснял Николай Матвеич. — Она ими ночью смотрит…

Раз это говорил Николай Матвеич, то я, конечно, не мог не верить. Главные достоинства такой вогулки на охоте неоценимы: она идет на медведя, ищет неутомимо белку, куницу, соболя, лисицу, облаивает осенью глухаря, когда он садится кормиться на закисшую от первого инея лиственницу, выслеживает диких коз и оленей, — одним словом, охотник без нее, как без рук. Вогулка не умеет делать только одного — стойки, как настоящие охотничьи собаки. Вторым недостатком такой промысловой собаки было то, что она гонялась за зайцами и подъедала иногда раненую птицу; но и этот недостаток легко объясняется жестокой системой воспитания голодом. Да, еще одно замечание: вогулки резко отличаются от дворняги необыкновенной чистотой своей шерсти, точно их мыли каждый день.

У Николая Матвеича перебывало много таких Лысок, и все

они походили одна на другую, как монеты одного чекана, и все влачили самое жалкое существование.

Раз я попался Николаю Матвеичу на самом месте преступления. Принес Лыску костей и засиделся, любуясь, с каким аппетитом она ест.

— Пса портишь, малец… — послышался за мной голос хозяина.

Я порядочно растерялся, но все-таки проговорил:

— А если она голодна?

— На то он пес, чтобы голодать…

Благодаря собаке я познакомился с Николаем Матвеичем ближе.

III

Квартира Николая Матвеича помещалась в конце длинного деревянного флигеля, отведенного заводоуправлением для помещения церковного причта. Николай Матвеич занимал дальний конец этого флигеля, выходивший окнами на восток, то есть к горам. Собственно квартира состояла из одной большой комнаты, разделенной деревянными переборками на три: передняя — она же и кабинет и мастерская хозяина, — из нее вход в небольшую угловую комнатку, заменявшую гостиную, и в кухню, где, собственно, проходила жизнь всей семьи. Обстановка была самая бедная, вернее — никакой обстановки. В кухне около стен шли лавки, как в крестьянских избах, и вся мебель состояла из одного деревянного стола; в кабинете хозяина была тоже лавка, только передвижная, и самодельный стул, в угловой комнате деревянный диванчик и несколько стульев.

В этом помещении ютилась довольно большая семья: жена Николая Матвеича, которую он, выпивши, называл «матерешкой», два сына и две дочери. Были еще двое старших детей, но они уже были пристроены, — старший сын служил дьяконом, а старшая дочь была замужем. Из оставшихся старший сын Митюшка работал на заводе, а младший, которого отец называл «Кулкой», был моего возраста, и мы скоро подружились. Дома Николай Матвеич держал себя почти неприступно и редко с кем разговаривал. Все понимали его с одного взгляда. В случае словесных объяснений он относился ко всем иронически, как к низшим существам. Дома у себя он точно выкупал свое вечное дьячковское унижение. Особенно доставалось в этом случае безответной «матерешке», которая скрывалась и пряталась от грозного супруга, как курица. Я лично как-то по-детски,

безучастно относился к этой семейной драме, да и сами действующие лица настолько привыкли к ней, что едва ли могли представить себе что-нибудь более подходящее и более целесообразное. Дьячковская нужда одинаково угнетала всех и приводила всех к одному знаменателю.

А мне даже нравилась эта нужда, и я завидовал многому в обстановке дьячковского ежедневного обихода. Например, что могло быть лучше сидения по вечерам «с лучиной»? Сальные свечи, которые отпускались заводоуправлением, составляли роскошь, а осенние и зимние вечера так длинны. Свечи заменялись лучиной, и я был в восторге, когда меня отпускали к Николаю Матвеичу посидеть «с лучиной». Вся обстановка этого сидения была необыкновенно заманчива. Ставился, во-первых, «светец», то есть деревянное корытце на деревянных ножках и с деревянным столбиком, в котором была вбита для держания лучины железная развилашка. В корытце наливалась вода, куда и падали нагоревшие от лучины угли. Зажженная свежая лучина сначала горела ярко, потом появлялись красные, длинные загибавшиеся угли и пускали едкую струю синеватого дыма. По мере сгорания лучины дым увеличивался и наполнял всю комнату удушающей пеленой. Все начинали протирать глаза, чихали, сморкались. Николай Матвеич обыкновенно сидел в сторонке и молча плел рыболовные сети, главным образом — излюбленные свои мережки. Мы, дети, больше всего заняты были лучиной, которую нужно было периодически менять, и я от души завидовал Кулке, который сидел с лучиной каждый вечер, а я мог получать это удовольствие только изредка. В самом деле, что может быть лучше, как сидеть и смотреть на горящую лучину, обламывать тонкие красные угольки, и бросать их в воду, и задыхаться от едкого березового дыма!

— Не нравится моя лучина? — подшучивает, бывало, Николай Матвеич. — А вот у меня в балагане, на Осиновой, еще лучше… Там я, как старый гриб, на сковородке пекусь. Вот там настоящий дым…

Николай Матвеич необыкновенно хорошо улыбался, причем его лицо делалось совершенно другим. При колеблющемся неверном освещении то потухавшей, то ярко вспыхивавшей лучины он казался мне каким-то сказочным человеком, каких художники рисуют в детских книжках. Жаль, что «матерешка» не подходила к роли жены старого волшебника, а то выходило бы совсем как в сказке.

Домашний костюм Николая Матвеича подходил к этому детскому представлению. Парадный подрясник бережно вешался в уголок, а дома старик ходил попросту: пестрядинные штаны,

запрятанные за голенища громадных мужицких сапог, рубаха из грубой китайской выбойки кирпичного цвета, с черными горошинками, а поверх — короткая курточка из толстого крестьянского сукна или из шкурки молодого оленя. В мастерской стоял самодельный верстак, над ним самодельный шкафик с принадлежностями охоты и рыболовства, а над шкафиком ружье, лыжи, обтянутые оленьей кожей, и свернутые сети. Николай Матвеич для домашнего обихода делал решительно все сам, до ружейного ложа включительно, и казался мне гораздо искуснее Робинзона Крузо, почему я его и не сравнивал с этим любимцем всех детей. Свои курточки и шапки Николай Матвеич шил сам, не доверяя «матерешке», и по части выделки меха не имел соперников, — никто не умел так выделывать олений мех, белку, куницу, лисицу и т. п. Одним словом, человек, который все знал, мог и умел. Увидать без дела Николая Матвеича мне не случалось. Старик всегда был чем-нибудь занят, и если не было домашней работы, он на дворе рубил дрова про запас, копал гряды, ухаживал за своею лошадью, сердитой рыжей кобылой, с какими-то необыкновенными белыми глазами, точно сделанными из фарфора, как у кукол.

Я убежден, что Николай Матвеич не променял бы своей передней ни на какие блага мира. Дело в том, что из единственного окна этой комнаты открывался чудный вид на родные зеленые горы.

— О! Кирюшкин пригорок! — показывал старик. — О! Белая, Шульпиха, Седло… Царство!..

Как все охотники, Николай Матвеич отличался суеверием. На охоту или рыбную ловлю он обыкновенно выходил самым ранним утром, на брезгу, то есть когда только начинал брезжить утренний свет. Делалось это с той целью, чтобы, — боже сохрани, — какая-нибудь баба не перешла дороги. В последнем случае ничего не оставалось, как вернуться домой, потому что все равно удачи не будет. «Баба», по мнению Николая Матвеича, была самое вредное существо.

— Уж она все дело испортит, — подтверждал Емелька в качестве опытного человека. — Со мной сколько разов так-то бывало: перейдет дорогу — и шабаш. Идешь с ружьем, а она, как овца, и перебежит дорогу.

Ружье в глазах Николая Матвеича имело какое-то таинственное значение, и его ничего не стоило испортить одним взглядом, а того больше — неуместным словом. Все хорошо стреляет, а тут и пошло мимо да мимо. Ружье у старика было действительно редкостное, кремневое, из старинных гладкоствольных сибирских винтовок. Из него можно было

стрелять одинаково и пулей и дробью, а иногда — тем и другим вместе. Понятно, что я относился к этому таинственному орудию с величайшим уважением и не смел прикасаться руками. Во всем домашнем обиходе Николая Матвеича ружье было самою дорогою вещью, орудием пропитания и предметом удовольствия. У этого ружья был свой собственный характер, которым оно отличалось ото всех остальных ружей на свете. Я был убежден, что другого такого ружья и не могло быть.

IV

Мне минуло уже десять лет. В комнате, во дворе и в огороде сделалось тесно. Я уже ходил в заводскую школу, где завелись свои школьные товарищи. Весной мы играли в бабки и в шарик, удили рыбу, летом ходили за ягодами, позднею осенью катались на коньках, когда «вставал» наш заводский пруд; зимой катались на санках, — вообще каждое время года приносило свои удовольствия. Но все это было не то. Меня тянуло в лес, подальше, где поднимались зеленые горы.

— Ну, малец, когда мы пойдем рыбачить? — несколько раз спрашивал меня Николай Матвеич. — Вот бы каких окуней наловили, а то и щуку…

Мать долго не решалась отпустить меня с Николаем Матвеичем, потому что вода, как известно, вещь очень опасная. Долго ли утонуть!.. Но в одно прекрасное утро разрешение было получено. Это было еще с вечера, а поэтому я почти не спал всю ночь. Ранним летним утром Николай Матвеич зашел за мной. Он был в рваной сермяжке, в оленьей зимней шапке и весь завешан собранной на веревке мережкой[12] — настоящий Робинзон. Мне ужасно хотелось спать, а в горах даже летнее утро бывает холодное, и над водой бродил волокнистый туман.

— Ничего, солнышко согреет, — ободрял меня Николай Матвеич, зарядив на дорогу свой нос табаком. — Жарко еще вот как будет…

В нашем заводе были два пруда — старый и новый. В старый пруд вливались две реки — Шайтанка и Сисимка, а в новый — Утка и Висим. Эти горные речки принимали в себя разные притоки. Самой большой была Утка, на которую мы и отправились. Сначала мы прошли версты три зимником, то есть зимней дорогой, потом свернули налево и пошли прямо лесом. Да, это был настоящий чудный лес, с преобладанием сосны. Утром здесь так было хорошо: тишина, смолистый воздух, влажная от ночной росы трава, в которой путались ноги.

— Вот и Матвеев луг, — объяснял Николай Матвеич, когда мы вышли из лесу на широкий мыс, огибаемый Уткой. — Тут и наши окуни.

Матвеев луг в моих детских воспоминаниях играет большую роль, потому что на нем мы проводили впоследствии много веселых юных дней. Купались, ловили рыбу и просто сидели около весело горевшего огонька. Для Николая Матвеича это место имело значение благодаря небольшой заводи, затянутой осокой и разной болотной травой. В жаркое время дня рыба входила в траву и здесь отдыхала. Я в первый раз видел, как ее ловят мережкой. Мережка — тройная сеть: в середине мелкая ячейка, а по бокам — крупные петли. Длиной она была сажен двенадцать, шириной — полтора аршина. На нижней веревке мережки укреплялись продырявленные, из обожженной глины грузила, кибасья, а на верхней, чтобы сеть не тонула, — поплавки из крученой бересты. Для прочности у Николая Матвеича мелкая средняя сеть была оплетена из синих ниток.

— Ну, вот мы и дома… — говорил старик, усаживаясь на берегу отдохнуть.

Я забыл сказать, что Николай Матвеич был в лаптях, как всегда выходил рыбачить. Дело в том, что в лаптях вода не держится и не стесняет движений.

Отдохнув, Николай Матвеич разыскал спрятанное в кустах «ботало» — длинный деревянный шест с железной воронкой на одном конце, потом распустил мережку и пошел с ней в воду обметывать траву. На поверхности оставались одни берестяные поплавки. Когда заводь была обметана мережкой, он начал ботать, то есть пошел с берега в траву и бил в воду боталом. Благодаря железной воронке получался от каждого удара такой шум, от которого рыба должна была бросаться в мережку. Эта работа продолжалась с полчаса, пока Николай Матвеич не исходил всей травы. Глубина была выше пояса, и он был весь мокрый.

— Эге, есть!.. — проговорил он, когда средние поплавки мережки начали погружаться в воду.

Он свел концы мережки вместе и потащил мережку на берег. Издали еще можно было видеть блестевшую, как серебряная монета, сорожку (плотва), запутавшуюся в мелкой сети. Но эта добыча не интересовала Николая Матвеича. В крупных ячейках наружных сетей запуталось несколько окуней и отчаянно билась аршинная щука. Это была настоящая рыба, и Николай Матвеич торжествовал.

— Вот тебе и уха из окуней и пирог из щуки, — говорил он, усмиряя бившуюся щуку.

На моей обязанности было тащить сделанную из лыка корзинку с рыбой, что было делом нелегким, — рыбы попало около десяти фунтов. Моему восторгу не было границ, и я жалел только об одном, что должен был сидеть на берегу и не мог принимать участия в закидывании мережки и в ботанье. Дальше я помогал расстилать мережку на траве, выбирать из нее речную тину и приставшую траву. А когда мережка немного просохла, мы отправились дальше, вверх по Утке.

Но дальше повторялось одно и то же, за исключением одного места, где Утка текла в суженном русле и мережку можно было перекинуть с одного берега на другой. Николай Матвеич особенно долго ботал, загоняя рыбу сверху реки и снизу. Вода в реке была светлая, и я все время любовался, как в мережке запутывалась разная рыба. Особенно красивы были окуни с их красными плавниками и пестрой темно-зеленой чешуей. Я прыгал от радости, как дикарь.

Все шло отлично; но тут случилось нечто совершенно не предусмотренное. Из дому я не захватил ничего съестного и теперь испытывал муки настоящего голода. Раньше мне не случалось голодать никогда, и я не подозревал, какая это ужасная вещь. А дома чай со сливками, разные вкусные «постряпеньки», наконец, целый обед… Чтобы утолить голод, я пил воду, но это не помогало. Вода в реке была теплая и с каким-то травяным привкусом. Николай Матвеич посматривал на меня и загадочно улыбался.

— Ну, что, малец, не пора ли нам пообедать? — проговорил он после последней закидки. — Проголодался?

— Очень…

— А у меня отличный повар готовит обед… Ты не знаешь, как его зовут?

— Нет…

— Голод, малец.

Мы уселись на опушке леса у самого берега. Николай Матвеич развел огонь и бросил в него несколько картошек. А потом достал из берестяного заплечника (особого устройства коробок с крышкой, который носят за плечами) несколько ломтей хлеба, зеленого лука и завернутую в тряпочке соль. Я смотрел на эти приготовления с такою же жадностью, с какой Лыско смотрел на приносимые ему кости. Повар Николая Матвеича оказался отличным: я еще никогда и ничего вкуснее не едал, как простой ломоть черного хлеба с солью и луком. Дальше следовало второе открытие: ничего на свете не было вкуснее самого обыкновенного картофеля, испеченного в горячей золе. Это уже была настоящая роскошь, пища избранников.

— Ну, а теперь чаю напьемся из моего самовара, — говорил Николай Матвеич.

Он ободрал лоскут бересты с молодой березки, вырезал из него круг, сложил один край и защемил его в расщепленную березовую палочку. Получился так называемый «чуман», то есть берестяной ковшик. Пить из него воду было, конечно, удобнее, чем черпать ее горстями. Робинзон оказался великим искусником, хотя я и не был согласен с его самоваром, то есть с рекой Уткой.

Возвращение домой произвело на меня угнетающее впечатление, потому что я страшно устал и думал, что просто умру дорогой от усталости. А Николай Матвеич, не торопясь, шагал своей развалистой походкой и, поглядывая на меня, улыбался своей загадочной улыбкой. Когда мы дошли до первых изб, я решил про себя, что больше ни за что в мире не пойду рыбачить… От усталости мне просто хотелось сесть на землю и заплакать. А Николай Матвеич шагал себе как ни в чем не бывало, и мне делалось совестно.

V

На другой день мои мысли совершенно изменились, и я мечтал о том, как мы опять пойдем рыбачить с Николаем Матвеичем.

В течение двух лет мы исходили с мережкой всю Утку и Шайтанку с переменным счастьем. Иногда приходилось возвращаться чуть не с пустыми руками, и можно было наловить гораздо больше удочкой, хотя последнего способа рыбной ловли Николай Матвеич и не признавал.

— Какая это ловля! — возмущался он. — Так, время убивать напрасно. Ребячья забава.

Главное удовольствие было все-таки впереди, именно — охота. Меня долго не отпускали; но потом состоялось соглашение в такой форме, что я пойду с Николаем Матвеичем, но только без ружья. Да у меня и не было своего ружья, хотя Николай Матвеич и обещал у кого-то достать.

У меня нет просто слов, чтобы выразить то волнение, которое меня охватило, когда мы в первый раз отправились с Николаем Матвеичем на Шульпиху, до которой от нашего завода считалось верст семь. Он шел со своим ружьем и с заплечником на спине, а я — с кузовком для грибов. Третьим действующим лицом был Лыско, визжавший от радости и выделывавший чудеса акробатического искусства. Утро было превосходное, точно настоящий праздник. Дорога на Шульпиху шла сначала старым

заброшенным просеком (на Урале говорят «просек», а не просека), а потом мы свернули влево, где начинались покосы.

— Ужо по островкам пошукаем (поищем), — говорил Николай Матвеич, заряжая ружье. — Птица теперь по ягодникам кормится…

Стояла вторая половина июля, и трава уже поспела для покоса. Ничего красивее нельзя себе представить, как эти чудные горные луга, усеянные лесными островками и по всем направлениям изрезанные бойкими горными речками. От травы утром поднимался такой аромат, что кружилась голова. Как только мы вышли из завода, наш Лыско совсем пропал, так что я думал, что он потерялся.

— Он ищет… — объяснил Николай Матвеич, указывая на колыхавшуюся траву, где Лыско «нюхтил» ему одному известные следы.

Главное достоинство промысловой собаки в том, чтобы она «широко ходила», то есть далеко обегала дорогу, по которой идет охотник. Наш Лыско появлялся то справа, то слева, — высунет из травы свою острую морду, посмотрит, куда мы идем, и опять пропал.

— Ищи, ищи, — поощрял его Николай Матвеич.

Около одного островка послышалось страшное фурканье. Это взлетел выводок поляшей (на Урале косачей называют поляшами, а тетерьку — польнюшкой). Николай Матвеич так и замер, подняв руку кверху.

— Видел? — шепотом спрашивал он меня.

Я ничего не видел. Лыско где-то взвизгнул и несколько раз отрывисто взлаял. Мы осторожно пошли по островку, причем Николай Матвеич часто останавливался, зорко вглядываясь в зеленую чащу смешанного леса. Я не смел дышать, охваченный первым охотничьим волнением. Мы зашли в лес, и Николай Матвеич остановился. Лыско, вспугнувший выводок, подбежал к нам и тревожно смотрел вверх, напрасно отыскивая притаившуюся дичь. Мы простояли совершенно тихо минут десять, как послышалось слабое щекотание.

— Слышишь? — шепнул мне Николай Матвеич. — Это матка подзывает детей.

В ответ щекотанию послышался с разных сторон писк, а на одной березе шелохнулась ветка.

— Вон он… — шепнул мне Николай Матвеич, показывая на вершину березы. — Смотри на сучок справа.

Сколько я ни старался и ни смотрел, но так и не мог увидеть затаившуюся птицу, которая сейчас была ростом чуть не с курицу. Николай Матвеич прицелился из ружья и дал мне «просмотреть»

птицу по прицелу. Я, наконец, ее увидел. Она присела к самому суку, вытянув вперед голову совершенно неподвижно. Только опытный охотничий глаз мог рассмотреть ее.

— Ну, теперь видел, малец?

Лыско, следивший за каждым движением хозяина, слабо взвизгнул, когда Николай Матвеич начал прицеливаться. Грянул выстрел, и мне показалось, что птица полетела с дерева комом раньше выстрела. Лыско рванулся было к ней, но был прогнан с позором. Я в первый раз видел застреленную птицу. Она лежала на траве, закрыв глаза, и слабо вздрагивала крыльями. Это была предсмертная агония. Около трава была забрызгана яркими пятнами свежей крови. Когда я ее взял, она показалась мне такой маленькой. Крылья распались, голова бессильно висела, мои руки были в крови. Пока Николай Матвеич заряжал ружье, я внимательно рассматривал ее и удивлялся, какая она вся чистенькая. Каждое перышко было верхом совершенства — не то что на домашней птице. Потом от нее пахло так хорошо, как пахнет только от сейчас убитой дичи. Говоря откровенно, я не испытывал ни малейшего чувства жалости к убитому живому существу. Объясняю это отчасти первым охотничьим пылом, а потом — присущею детям бессознательною жестокостью. Мне хотелось, чтобы Николай Матвеич перестрелял весь выводок, что являлось уже совершенно непонятною жадностью. Но нам удалось «взять» только две штуки, а остальные слетели.

— Ну, для начала и этого довольно, — решил Николай Матвеич, вскидывая ружье на плечо; он так носил ружье только в лесу, а в селенье опускал его книзу, точно прятал.

Следующим номером было утиное гнездо, которое Лыско разыскал на речке Мартьяне; но Николай Матвеич сделал промах и больше не стал стрелять.

— Терпеть не могу эту проклятую птицу, — ворчал он, заряжая винтовку. — Хлопот с ней не оберешься, да еще полезай за ней в воду. Как раз утонешь. Да и вкусу настоящего в дикой утке никакого нет. Травой да тиной пахнет…

Самая лучшая часть охоты началась, когда мы стали подниматься на Шульпиху, покрытую светлым сосновым бором. Собственно, настоящей охоты тут не могло быть, но Николай Матвеич, очевидно, хотел показать мне красивое лесное местечко. Действительно, кругом все было красиво. Ровные сосны поднимались желтыми колоннами, под ногами — настоящий ковер из опавшей хвои, а вверху какой-то торжественный шепот, как в громадном храме, где звуки теряются под высокими сводами. Кое-где попадались трава и лесные цветы, а потом грибы.

— Как птица и рыба, так грибы и ягоды разные бывают, — объяснил Николай Матвеич. — Сухой груздь, рыжик, боровик — это настоящий гриб, — потому как его впрок можно готовить… А другие — ничего не стоят. Малина, черника, брусника — тоже сурьезные ягоды, а вот земляника или костяника уж совсем ни к чему.

На одной опушке Лыско поднял зайца и погнал его с жалобным визгом.

— Ну, брат, шалишь, — посмеялся Николай Матвеич. — Косой-то похитрее тебя будет.

Лыско действительно вернулся через полчаса в самом жалком виде: усталый, с высунутым языком и порывистым дыханием.

— Поклон от косого принес? — шутил Николай Матвеич. — То-то, брат, не за свое ремесло принялся.

Мы сделали привал в середине горы, где у Николая Матвеича были спрятаны с весны надранные лыки.

— Ужо в Мартьян надо стащить да в воду спустить, — объяснил он. — К осени успеют вымокнуть… Будет и свое лыко и свое мочало.

Пока мы отдыхали, Лыско исчез, и скоро послышался его мерный, отрывистый лай, точно кто рубил топором.

— Белку облаивает, — заметил Николай Матвеич, поднимаясь. — Она теперь совсем красная и ничего не стоит…

Мы скоро нашли Лыска. Он стоял перед громадной сосной и отчаянно заливался. Белку я скоро разыскал. Она сидела на сучке в средине сосны и смотрела на нас совершенно спокойно.

— Ишь, ничего не боится, — объяснил Николай Матвеич. — Знает, что никому ее сейчас не нужно… А вот как сделается по снегу серой, тогда забьется в самую вершину, и не разыщешь ее.

Чтобы потешить меня, Николай Матвеич убил ее и очень ловко освежевал, то есть снял шкуру, как перчатку. Мясо пошло в пользу Лыска, накинувшегося на него с жадностью.

VI

Мне приходится здесь сказать несколько слов об охоте, как о жестоком удовольствии, которое особенно порицается в таком восприимчивом возрасте, как детство. Защищать охоту, конечно, нельзя, и это не требует доказательств, хоть и есть защитники, которые уверяют, что только охота развивает в мальчиках настоящее мужество и закаляет характер. Это одна сторона. С другой стороны, в большинстве наших удовольствий, допускаемых и поощряемых самой строгой педагогией, есть

известный элемент жестокости. Возьмите ужение рыбы, коллекционирование насекомых, — даже собирание гербария. Не все ли равно, убиваете вы птицу или садите живое насекомое на булавку? В том и в другом случае вы лишаете жизни живое существо…

Лично я смотрю на охоту только как на средство быть в лесу. Идти в лес так, с голыми руками, не приходится и как-то скучно, а охота является прекрасным предлогом. Про свою раннюю юность в этом отношении могу сказать только то, что я слишком много провел прекрасных дней в лесу и в горах именно благодаря охоте, причем синодик загубленных птичьих жизней не превышает нескольких десятков. Да и впоследствии я никогда не мерял охоту количеством убитой птицы, как завзятые специалисты-охотники, а разных садок, где расстреливают выпускаемых из клеток голубей, не могу видеть и до сих пор.

Первое свое ружье я получил, когда мне было уже пятнадцать лет, и домой я приезжал только на каникулы. Первой жертвой моего охотничьего искусства была несчастная ворона, убитая для пробы ружья. Но убить самому оказалось совсем другим, чем быть свидетелем того, как убивают другие. Убитая мной ворона отравила мне несколько дней, как совершенно бесцельная жестокость.

Благодаря собственному ружью я теперь уже мог самостоятельно ходить на охоту, а это представлялось таким удовольствием, равного которому нет. К этому времени у меня был уже большой друг, Костя, сын заводского служащего, у которого было тоже свое собственное ружье. Теперь мы делали уже настоящие походы в горы втроем, главным образом, на Осиновую гору, где у Николая Матвеича был устроен собственный балаган. Это было счастливое время, о котором я и сейчас вспоминаю с большим удовольствием.

Обыкновенно каждая охота в горах занимала два дня. Мы уходили в горы ранним летним утром, а возвращались только на другой день, поздно вечером. Дорога на Осиновую гору шла мимо Шульпихи, а потом — через знаменитые платиновые промысла, расположенные по течению реки Мартьяна. До промыслов мы успевали поохотиться и на Мартьяне делали охотничий привал у кого-нибудь из приисковых знакомых рабочих. Мы стреляли дупелей и бекасов на знаменитой Варламихе, которая дала тысячи пудов платины, а в то время представляла собой цветущие луга. Николай Матвеич не признавал охоты на болотную дичь, называл ее «шальбой» и был уверен, что убить бекаса — навсегда испортить ружье.

В то время работа на промыслах шла только летом, и картина

получалась самая оживленная. По берегам Мартьяна — везде избушки и простые землянки старателей, везде курятся приветливо огоньки, а по выработкам и промывкам копошатся сотни рабочих. Эта работа на открытом воздухе носит какой-то особенно бодрый характер, — конечно, в хорошую погоду. Нам не раз случалось и заночевать в одном из таких балаганов. Приисковые рабочие, конечно, смотрели на нас, как на шалопаев, которые от нечего делать шляются по лесу, и на этом основании не упускали случая пошутить.

— Матвеич, ты бы смазал ружье-то тараканьим мозгом, — советует кто-нибудь. — Пользительно, сказывают. Тоже вот сорочья кровь очень способствует.

Мы отшучивались как умели, а Николай Матвеич вообще не любил напрасно тратить слов, особенно по части охоты: не такое это дело, чтобы лясы точить…

С промыслов наша дорога шла влево, круто забирая в гору. Это был чудный подъем. Извилистая горная тропинка шла зеленым коридором в гуще березняков и осинников. Особенно хороши были последние с своими матово-серыми стволами и трепещущей листвой, с которой точно сыпалась солнечная пыль. По густой, сочной зеленой траве так красиво бродят жирные солнечные расплывающиеся пятна. Пахнет горьковатым ароматом осиновых губок, обдает каким-то влажным теплом; где-то немолчно долбит пестрый дятел, неистово вскрикивает черная роньжа, мелькает шустрая белка. По-моему, нет красивее леса, как сплошной старый осинник. По крайней мере мне не случалось видеть ничего красивее. Дубовые и липовые рощи не могут идти в сравнение. Впрочем, может быть, сказывается свой уральский патриотизм или то, что тогда я смотрел на все молодыми глазами.

Подъем вытягивался верст в пять, и идти с ружьем в жаркий день — труд нелегкий. В сплошном лесу и охота плохая, потому что дичь держится на ягодниках, а рано утром и вечером держится около лесных троп и дорожек.

К балагану Николая Матвеича на Осиновой мы приходили обыкновенно к обеду, часа в два, в самый развал летнего зноя, и делали уже настоящий привал. Балаган был срублен из елового леса и совсем врос в землю. Сверху он был покрыт дерном, на котором розовой шапкой рос иван-чай. Окон не полагалось, а их заменяла низенькая дверь, вся засыпанная дробью и дырами от пуль, как мишень. Внутри, в глубине, помещались деревянные нары, а налево от двери — сложенный из камня-дикаря очаг. Дым сначала наполнял весь балаган, а потом уже выходил в дверь и в проделанное в крыше отверстие, заменявшее трубу.

Мы снимали разную охотничью сбрую, разводили огонь и принимались готовить охотничий обед. У Николая Матвеича хранился для этого железный котелок, в котором приготовлялась охотничья похлебка из круп, картофеля и лука, с прибавкой, смотря по обстоятельствам, очень расшибленного выстрелом рябчика, вяленой сибирской рыбы-поземины или грибов. Вкуснее такой похлебки, конечно, ничего не было на свете; а после нее следовал чай с свежими ягодами — тоже не последняя вещь в охотничьем обеде.

— Ну, теперь поснедали, отдохнули и на работу, — говорил Николай Матвеич.

Сама по себе Осиновая гора не отличалась ни высотой, ни красотой, а походила на громадную ковригу хлеба. Николай Матвеич предпочитал ее всем другим горам благодаря своему покосу и зимней охоте на оленей. Мы предпочитали уходить на охоту под Кирюшкин пригорок, стоявший рядом. Он состоял из утесистого шихана (шиханом на Урале называют скалы на вершинах гор), от которого во все стороны рассыпались каменные россыпи. Около этих россыпей почти всегда растет малина, и птица любит держаться около этой ягоды. Но мы прежде всего забирались на самую вершину шихана, чтобы отсюда досыта налюбоваться широкой горной панорамой. Мы просиживали целые часы, любуясь зеленым морем родных гор, исчерченных бойкими горными речками по всем направлениям и только кой-где тронутых человеческим жильем. Вдали виднелся наш родной завод Висим с его двумя прудами, ближе пряталась за горой деревушка Захарова, потом платиновые промыслы, — и только. В поле нашего зрения находился Черноисточинский громадный пруд-озеро, но он заслонялся каменной глыбой Белой горы.

Ночь мы проводили в балагане на Осиновой, а чем свет отправлялись на охоту. В этих случаях Николай Матвеич был неумолим и не позволял нежиться. После целого дня шатания с ружьем по горам мы возвращались домой к вечеру, усталые до последней степени, и клялись друг другу, что это уже в последний раз.

— Я и ружье изломаю, — уверял Костя.

Но усталость проходила в одну ночь, и мы опять шли в горы, расширяя поле действия. Мы пробрались и на Белую гору, где был устроен на самой вершине отличный балаган, побывали на Седле, на Билимбаихе, на Мохнатенькой, на трех Шайтанах и на Старике-Камне.

VII

Домой я приезжал только летом, на каникулы, и почти все время проводил в горах. Теперь мы с Костей уже без руководительства Николая Матвеича бродили по горам и отлично знали все горные тропы. Но все-таки, по старой привычке, мы любили поохотиться со стариком, который в лесу был совсем другим человеком, вернее сказать, — самим собой он делался только в лесу. Самое главное, что привлекало нас в нем, — было необыкновенно развитое «чувство природы». Такое чувство есть и, к сожалению, им владеют очень немногие. Николай Матвеич и по лесу ходил не так, как другие, хотя к этому и нужно было присмотреться. Сейчас он идет рядом с вами, вы слышите его шаги, а потом — точно сквозь землю провалился. Это была привычка «скрадывать», то есть идти на всякий случай под прикрытием. По дороге старик всегда приводил в порядок буйную горную растительность, — тут сухарина (сухое дерево) пала и придавила молодую поросль, там снегом искривило, там скотина подломала. Надо помочь молодым расти, а то зря погибнут. У старика были тысячи знакомых молодых деревьев, которым он спас тем или другим образом жизнь. Он заходил навестить их, как своих воспитанников, и торжествующе любовался.

— Ведь погибла бы, — говорил он, указывая на какую-нибудь молоденькую рябинку. — Снег выпал ранний, мокрый, ну, и пригнул ее головой до самой земли, а я стряхнул снег, — вот она и красуется.

Больше всего старика волновали хищнические порубки на его любимой Осиновой горе, которые делались приисковыми рабочими с чисто русской безжалостностью к дереву. Николай Матвеич в немом отчаянии смотрел на свежие пни, валявшиеся вершины и думал вслух:

— Дерева-то не сумели по-настоящему выбрать и срубили его не по-настоящему… Выхватил одну середку, а остальное будет зря гнить в лесу да другим мешать. Хоть бы хворост да щепы в кучу собрали, а то хламят лес. Ежели бы дерево умело говорить, когда его рубят, — что бы тогда было? Ведь оно не мертвое, а живое…

Еще больше внимания оказывал Николай Матвеич всякой лесной живности, которая у него была на счету. Он наперечет знал на своей Осиновой все гнезда тетеревов, глухарей и рябчиков, тетеревиные и глухариные тока, все привычки и повадку каждой птицы.

— Зря бьют птицу, — возмущался он. — Выбивают маток до Петрова дня, цыплята остаются маленькими, ну, ястреба да лисы их и переедят. Убей матку, — все гнездо пропало. Матка-то тебе на другой год новое гнездо выведет… Вот петух — того можно

бить после весенних токов, потому как он ни к чему, а матку не тронь. Божья птичка, у нее на все свой порядок. Как она весной-то радуется, как гнездышко вьет, как деток вываживает, — одна красота!.. Только вот не скажет, что и она жить хочет. Не троньте, мол, меня, не губите напрасно…

Жизнь природы, в совокупности всех ее проявлений, в глазах Николая Матвеича была проникнута неиссякаемой красотой. И любой камень, и каждая травка, и маленький горный ключик, и каждое дерево — все красиво по-своему. Какими красивыми лишайниками точно обтянуты камни в горах! А мхи, папоротники, цветы — что может быть красивее? Перемены погоды по временам года нехороши только в селении, а в лесу все и хорошо, и красиво, и полезно. И дождь, и снег, и солнце, и ветер, и холод, все работает свою указанную работу. Осенние ночи и осенние ливни нехороши только в селениях, а в лесу и в них есть своя прелесть и своя глубокая поэзия. Но больше всего Николай Матвеич любил суровую северную зиму, когда вся природа засыпала в таком красиво-торжественном покое. Кажется, все замерло, погибло, исчезло, а между тем где-то там, под саженным слоем снега, таится и теплится жизнь, которая проснется с первым весенним лучом солнца. Горная текучая вода, разносившая кругом жизнь и движение, приводила Николая Матвеича в какое-то сладостное умиление.

— Это уж вековечная работница, — объяснял он. — Она и палый осенний лист стащит, и корешки у травки обмоет, и песок снесет вниз, и зернышки рассадит… Ведь и травка ходит: то вода снесет, то ветром перекинет зернышко.

В горах встречается много бродячих растений, которые точно сознательно идут в известном направлении, делая по дороге остановки для отдыха. Конечно, для таких передвижений нужны десятки и сотни лет.

Но были некоторые пункты, которых Николай Матвеич никак не мог понять. Раз мы пришли к балагану на Осиновой, и старик молча указал на разросшиеся около него репейники, чертополох, крапиву и лебеду.

— О! — проговорил он, улыбаясь.

Мы ничего не понимаем.

— Это всё дармоеды… — объяснил он. — В горах нигде не встретишь ни чертополоха, ни репья, ни крапивы, а эти дармоеды идут за человеком. Все равно, как клопы или тараканы… Ведь сюда их никто не тащит, а я же их как-нибудь принес с собой в заплечнике. И для чего они только растут?.. Все равно, как помру, балаган завалится, и они перемрут все до единого. Задушит настоящая лесная трава… Ведь вот тоже и воробья не встретишь в

лесу, галки, голубя. Наш домашний голубь и на дерево-то не умеет садиться, потому у него лапки иначе устроены.

— А вяхирь?

— Ну, это уж лесной голубь, совсем другое.

Сидя по вечерам у огонька, о чем, о чем мы ни переговорили. Николай Матвеич рассказывал мастерски, как никто, и все, что он ни говорил, было передумано и перечувствовано. Каждое слово являлось полновесным зерном, как у всех серьезных и вдумчивых людей, которые умеют найти глубокий смысл в самом обыденном явлении и открыть его там, где другие ничего не видят. Это особый дар, дар избранников…

Дети по натуре — эгоисты. Мысль только о себе составляет долго все содержание внутренней детской жизни, и другие люди имеют постольку значения, поскольку они соответствуют удовлетворению этого чувства. Такой эгоизм проходит и через всю юность, как, вероятно, эгоистично прорастает в родной почве каждое зерно. Такими же эгоистами были и мы с Костей. Отлично помню, что мне не приходила в голову самая простая мысль, хорошо ли живется и как живется старику с его неотступной дьячковской нуждой. Достаточно сказать одно, что жалованья он получал всего три рубля в месяц, готовую квартиру, свечи и, кажется, по пуду муки на каждого члена семьи. А ведь нужно одеться, — это одно чего стоило. Приход был маленький и бедный, и едва ли на долю Николая Матвеича доставалось от церковных доходов рублей пятьдесят, шестьдесят в год. И человек ухитрялся прожить всю жизнь и поднять на ноги всех детей. Николаю Матвеичу предлагали дьяконское место, но он наотрез отказался.

— А «матерешка» умрет? — коротко объяснил он. — Дьякону во второй раз жениться нельзя…

Конечно, это была шутка, как любил выражаться старик. Дело было не в «матерешке», а в том, что Николай Матвеич не в силах был расстаться с своими возлюбленными зелеными горами и охотой, — дьякон не имел права ходить на охоту, потому что она соединена с пролитием крови. Николай Матвеич так и остался вечным дьячком.

Каким образом могла прожить такая семья на такие ничтожные средства, тем более, что были привычки дорогие, как чай? Ответ самый простой: все было свое. Огород давал все необходимые в хозяйстве овощи, корова — молоко, куры — яйца, а дрова и сено Николай Матвеич заготовлял сам. Немалую статью в этом хозяйственном обиходе представляли охота и рыбная ловля. Больным местом являлась одежда, а сапоги служили вечным неразрешимым вопросом.

VIII

В начале семидесятых годов я уезжал учиться в Петербург и перед отъездом зашел проститься с Николаем Матвеичем. Это было в начале осени. У Николая Матвеича сидел в гостях его друг Емелька. Старики показались мне как-то особенно грустными. Дело скоро разъяснилось. Емелька взял стоявшее в углу пистонное ружье и, взвешивая на руке, проговорил:

— Веселенькая штучка… Ствол нарезной, а вместо кремня — свистоны. Значит, осечкам шабаш, не как у наших кремневок…

— Ничего не выйдет, — сказал Николай Матвеич с необычным для него азартом. — Из нарезного-то ствола ты и стреляй одной пулей, а дробь разнесет…

— Да ведь я не за рябчиками пойду с ним? — сказал Емелька, тоже ожесточаясь. — Ведь как оно пулю далеко несет и как сильно бьет… А первое дело: свистон. Надел, чик! и готово…

— У тебя это в башке чикает! — ругался Николай Матвеич. — Разве это ружье? Мешалка какая-то, квашню мешать… Да я его и в руки не возьму, только руку как раз испортишь…

Спор о достоинствах кремневых и пистонных ружей велся несколько лет, и каждая сторона оставалась при особом мнении. Николай Матвеич крепко стоял на своем, отчаянно защищая свою кремневку, прослужившую ему верой и правдой всю жизнь. На наши пистонные ружья он смотрел всегда, как на детские игрушки, тем более, что из них нельзя было стрелять пулей.

Я так и уехал в Петербург, оставив спор нерешенным. В Петербурге мне пришлось прожить безвыездно лет пять, и в это время Николай Матвеич умер. Из письма Кости я узнал, что события шли в таком порядке. Сначала умерла «матерешка». Оказалось, что старик очень ее любил, несмотря на видимую грубость обращения. Когда она лежала в гробу, он украсил его живыми цветами, что поразило всех. Простой дьячок, и такие нежности… Старик сильно тосковал, потеряв скромную подругу своей многотрудной жизни. Вероятно, Емелька воспользовался этим моментом и убедил его, наконец, в преимуществах пистонного ружья. Но тут и случилась настоящая беда. Николай Матвеич «промазал» по оленю… От огорчения или от простуды он слег и больше не вставал.

Лет через пятнадцать после его смерти я был в последний раз на родных зеленых горах; я опять видел Шульпиху, Осиновую, Кирюшкин пригорок, Белую, Седло, Билимбаиху, трех Шайтанов и Старик-Камень. Я объехал верхом эти глубоко родные горы и часто вспоминал покойного Николая Матвеича. Мне иногда

казалось, что между деревьями мелькает его крадущаяся тень… И Кости тоже уже не было на свете. Бедняга умер в самом расцвете сил, простудившись на приисковой разведке. Родные места вызвали целый ряд других дорогих теней; но с милыми зелеными горами неразрывно связывалась тень одного Николая Матвеича, как с домом — тень его бывшего хозяина. Да, это был настоящий хозяин, а зеленые горы служили ему домом…

Горький опыт жизни научил понимать многое, что было недоступно раньше. Только теперь я понял, почему мой отец называл Николая Матвеича философом. Прежде всего, это был созерцатель, живший широкой жизнью всей природы. Она наполняла его существование, заслоняя все остальные интересы, до дьячковской нищеты включительно. Как я отлично теперь понимал Николая Матвеича, когда он в трудные минуты жизни смотрел из своего окошечка на родные зеленые горы. Дома он был только так, временным гостем, как и всякий из нас. Припомнилась мне и одна характерная сцена, происходившая у палаустного (в два ската) балагана Емельки на платиновых промыслах.

Мы запоздали и решили заночевать у Емельки. Спускался темный июльский вечер, и брести десять верст домой не представляло ничего заманчивого, а перед балаганом так приветливо курился веселый огонек, манивший отдохнуть.

— Куда вам торопиться? — приглашал Емелька. — А утром под Шульпихой еще, пожалуй, глухаря убьете…

— Глухаря не глухаря, а рябчиков найдем, — соглашался Николай Матвеич.

— Конечно, останемтесь, — уговаривал я, прельщенный перспективой уснуть именно в палаустном балагане, где дуло со всех сторон, как в форточке.

Мы поели какой-то горячей похлебки, и я прилег в балагане, пока согреется чайник с водой, прилег и сейчас же, конечно, заснул мертвым сном. Вероятно, я так проспал бы до самого утра, если бы меня не разбудил страшный холод. Мои зубы выбивали лихорадочную дробь. К счастью, в чайнике была горячая вода, и я мог согреться.

— Ничего ты не понимаешь, Емелька… — говорил Николай Матвеич, продолжая какой-то бесконечный спор.

— Очень даже могу понимать: одно — богатый, другое — голь перекатная. Вполне понимаю.

— Хорошо. Возьмем богатого… Что он, по-твоему, два обеда съест или две шубы на себя наденет? Ты раскинь мозгами-то, умная голова…

— Два обеда зачем есть, а вот избу новую поставить, лошадь

хорошую завести, шубу справить… Небойсь, все бы тогда вот как Емельке кланялись.

— Дураки бы кланялись… Зачем я буду кланяться, когда он такой же человек да еще, может, и похуже меня? А потом помрет, с собой ничего не возьмет… Бедному и помирать легче. Ты бы выстроил одну избу, — подавай другую, купил одну лошадь, — надо другую, купил шубу, — куплю другую… Стал бы завидовать другим, которые богаче тебя, и последнего бы ума лишился. Да еще сам стал бы обижать бедного-то человека… Ну-ка, подумай?

Емелька только чесал в затылке. И новая изба, и лошадь, и шуба остались неисполнимой мечтой…

В Николае Матвеиче именно не было той зависти, которая разъедает жизнь других людей. Он никогда не завидовал никому, — по крайней мере я не слыхал ничего подобного. А это — великое дело, когда человек чувствует свою жизнь полной, — он истинно счастлив…

Может быть, я идеализирую своего старого друга, может быть, я не знал других сторон его жизни, но это уже общий удел всех воспоминаний детства… Лично я вспоминаю о Николае Матвеиче с чувством глубокой благодарности.

ПРИМЕЧАНИЯ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

«Автобиографическая записка» была впервые опубликована уже после смерти писателя в журнале «Новая жизнь» № 1 1913 года журналистом А. С. Пругавиным под заглавием: «Д. Н. Мамин-Сибиряк о себе самом». Пругавин предпослал этой записке следующее пояснение:

«Д. Н. Мамин-Сибиряк во второй половине 80-х годов несколько зим прожил в Москве. В то время московские писатели прогрессивного лагеря объединились, с одной стороны, сотрудничеством в «Русских ведомостях» и «Русской мысли», и с другой — участием в деятельности «Общества любителей российской словесности» при Московском университете.

…Все эти лица состояли членами «Общества любителей российской словесности», и почти все они выступали в публичных и торжественных заседаниях Общества, которые в то время устраивались довольно часто. В качестве секретаря Общества (1887 и 1888 гг.) мне приходилось принимать непосредственное участие в устройстве этих собраний. Наблюдая живой, горячий интерес, который проявляла публика к выступлениям более или менее молодых писателей того времени, а также к их произведениям, появлявшимся в печати, я задумал путем издания особой книги возможно подробнее познакомить публику с биографиями молодых писателей и с их литературной деятельностью.

В этих видах я обратился к молодым беллетристам с просьбой доставить мне сведения о себе как биографического, так и библиографического характера, написанные в третьем лице. Просьба моя была исполнена всеми теми писателями, к которым я обратился с нею. Но предполагаемое мною издание не состоялось.

Сведенья, полученные мною от Д. Н. Мамина-Сибиряка, приводятся мною ниже без всяких изменений…»

Переговоры об этой записке между Маминым и Пругавиным шли, вероятно, в конце 1885 года, потому что уже 29 сентября 1885 года Мамин писал брату Владимиру: «Кстати, спроси Александра Степановича относительно литературного календаря и наших автобиографий». Видимо, Мамину было неясно, нужно ли писать автобиографию.

Записка эта была перепечатана в 1913 году журналом «Педагогический листок» № 3, с указанием истории ее

возникновения.

В настоящем собрании сочинений печатается по первопечатному тексту журнала «Новая жизнь».

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

Воспоминания

Автобиографические очерки, объединенные под названием «Из далекого прошлого», были впервые напечатаны отдельной книгой в издании журнала «Детское чтение», серия «Библиотека детского чтения» в 1902 году.

Мамин-Сибиряк печатал эти рассказы и очерки в 1894–1900 годы в различных периодических изданиях: в газете «Русские ведомости», журналах «Русская школа», «Юный читатель», «Детское чтение». Это были главы «Из далекого прошлого».

При жизни писателя они выходили трижды: в 1902, 1908 и 1911 годах — явление для того времени довольно редкое. В первое, отдельное издание Мамин-Сибиряк внес ряд существенных поправок и изменений.

Автобиографичность рассказов бесспорна. В них сохранились даже собственные имена героев, прототипами которых были родственники Мамина, прозвища его друзей, знакомых и его самого. Это произведение имеет большое значение для изучения среды и условий, в которых формировалось мировоззрение будущего писателя, изучения его внутренней эволюции. Но это не просто документальная публицистика, а художественное произведение о юноше-разночинце второй половины XIX века в России.

Замысел этой книги восходит к началу 90-х годов. Так, Мамин писал матери 6 сентября 1891 года: «Нужно будет написать на всякий случай воспоминания о всех… простых и хороших людях, среди которых прошло мое детство». В большой мере эти воспоминания осуществлены в очерках «Из далекого прошлого». В январе 1958 г. журнал «Урал» впервые опубликовал хранившуюся до сих пор в архивах писателя повесть «Сорочья похлебка», значительно дополняющую «Воспоминания». Мамин работал над нею в 80-е годы. Она отличается более острыми социальными характеристиками и более резкими критическими высказываниями, — в повести «Из далекого прошлого» они ослаблены, смягчены.

Печатается по изданию: Д. Н. Мамин-Сибиряк «Из далекого прошлого «Воспоминания», 1911. Устранены имевшиеся опечатки.

А. НАУМОВА

notes

Note1

Матери-кормилице (лат.).

Note2

Межевая Утка — река, приток р. Чусовой; свое название она получила оттого, что когда-то служила межой между владениями Строгановых и Демидовых. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Note3

Шитик — средней величины лодка, по образному народному выражению, «сшитая» из досок. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Note4

Корга — по-татарски ворона. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Note5

Ехать в «цело» — целиком, напрямик, без дороги. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Note6

Грядка в средней полосе России — подушка, нижняя передняя часть телеги. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Note7

Довольно, достаточно? (лат.)

Note8

Эти строки были написаны до настоящего положения школьного дела, которое вернулось к хорошим традициям доброго старого времени. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Note9

Far niente — приятное ничегонеделание. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Note10

И книги имеют свою судьбу (лат.).

Note11

На Демидовских уральских заводах много хохлов, переведенных из Малороссии. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Note12

На Урале мережкой называют тройную сеть. (Прим. Д. И. Мамина-Сибиряка.)